

Иван Наживин

Евангелие от Фомы

I

Короткая летняя ночь догорала. За черно-синими горами умирала огромная, бледно-серебристая луна. Бледнели звезды. Где-то поблизости дремотно гулькал ручей.

На пестрой циновке, под старыми пальмами оазиса Энгадди, виднелись две белые фигуры... Два человека в широких белых одеждах ессеев — одной из религиозных иудейских общин. То были: старый, весь точно прозрачный, с большой изжелта-белой бородой и усталыми, грустными глазами — Исмаил, начальник общины, и один из ее членов — галилеянин Иешуа, который, несмотря на его сравнительно молодой возраст, — ему было около тридцати — уже пользовался некоторой известностью как проповедник. Он был роста повыше среднего, смугл и худощав. Сразу приковывало к себе его тихое под пестрой чалмой — судар — лицо, а в особенности эти темные глаза: то были они немножко дики, точно пугливы, как у очень застенчивых детей, то — в моменты глубокого волнения — они вдруг согревались, загорались и освещали не только все лицо, но все

существо молодого проповедника каким-то сиянием... Они провели в беседе всю ночь и, оба немного утомленные, сидели теперь погруженные в молчание.

Исмаил вздохнул.

— Все так, все так... — тихо уронил он. — Но мне все же жаль, что ты хочешь оставить нас...

— Не могу я оставаться с вами, рабби... — проникновенно отвечал Иешуа. — Люблю я бедность вашу добровольную и строгость, и чистоту трудовой жизни вашей люблю, мила мне жалость ваша ко всем страдающим и униженным, но многого не могу я принять у вас. Не могу я принять этой вашей постоянной боязни оскверниться, не могу я принять этого вашего горделивого отчуждения от людей только потому, что они не так живут, не так думают, как вы, не могу я принять и этого разделения братьев — ессеев на высших и низших и бесплодных гаданий ваших о том, как был сотворен мир и какие имена были наречены ангелам, ибо знать этого нельзя, да и ни на что это человеку на его трудном пути не нужно... Зайди в любую синагогу, послушай, сколько споров, сколько разделения, сколько вражды между людьми из-за этих мелочей! А если разобрать все это как следует, то все это только жалкие человеческие выдумки... И заметь, рабби: когда дело касается главного, люди почти всегда

согласны между собой и, во всяком случае, согласить их не трудно, а как дойдет дело до этих вот мелочей, так и начинаются раздоры, которых ничем не потушишь... А ведь все это только слова...

— Конечно, только слова... — тихо уронил Исмаил. Иешуа взглянул на него согревшимися глазами.

— Не ожидал я от тебя такого слова, рабби! — сказал он.

— Пожалуй, я сам немного виноват во всем этом... — отвечал старец. — Может быть, мне самому нужно было заговорить с тобой об этом в свое время... Да, это, если хочешь, слова, но слова, нужные для детей духа, как нужны ребенку пеленки. Милый, — ласково положил он свою прозрачную, трясущуюся руку на колено Иешуа, — скажи: разве твоя вера теперь такая же, как в то время, когда твой отец учил тебя первой молитве? Или когда ты шел впервые с паломниками в Иерусалим? Или даже когда тебе было двадцать пять лет? И через двадцать пять лет она будет не такой, как теперь. Но есть люди, которые разумом своим всю жизнь пребывают в годах детских, — вот для них-то, детей духа, и нужны эти слова, эти пестрые покровы истины. Ты помнишь, заезжал к нам в Энгадди Филон Александриец?

— Как же... И я беседовал с ним... — отвечал

Иешуа. — Мудрый человек...

— Ну, вот... — кивнул своей большой, белой чалмой Исмаил. — Он много рассказывал нам тогда о своих странствиях и о разности людском под солнцем... Не одни мы держимся так за слова, не одни мы боимся пустоты вокруг престола Предвечного. То же и у язычников, — у греков, у римлян, у египтян, у всех и всегда, и всюду... И недаром в храме иерусалимском святая святых отделена завесою, входить за которую никто, кроме первосвященника, да и то только раз в год, не смеет. Людям нужны и ангелы, и имена их, и талисманы всякие, и заклинания, и торжественные звуки, и яркие краски, и прекрасные слова, и тайна... Когда выходит сеятель сеять, не глядит ли он, где земля лучше, дабы не погибли напрасно дорогие семена его? Так и мы дорогие семена истины чистой, истины полной бережем за завесою святая святых только для тех, которые могут вместить их...

Глаза Иешуа просияли еще более напряженным чувством — чувствовалось, что в каждое слово он вкладывает всего себя без остатка...

— Прости меня, рабби, но я не могу согласиться с тобой... — сказал он. — Земля у сеятеля вся на виду и он может выбирать, а сердце человеческое тайна, в которой не видно ничего. Ты

молчишь, думая, что перед тобой бесплодные камни или солончак, а там тучный чернозем, который скрыт только бурьяном. Но бурьян только потому и густ, что под ним — добрая земля. Сеять надо всю истину, не жалея, а куда упадет доброе семя, где оно погибнет и где даст добрый урожай, того знать не дано нам. Есть и другие причины, почему ухожу я от вас, рабби... — вздохнув, продолжал он и в голосе его послышалось еще большее волнение. — Мне тяжело говорить тебе это, но сказать правду я все же должен. Наша белая ессейская одежда не всегда прикрывает в Энгадди белую душу. И зависть, и борьба за первенство, и сила женщины скрытая, и многое другое и здесь, в тишине оазиса, волнуют и омрачают души людей, как и везде... И выходит перед людьми как бы обман... А потом... вот мы все спрятались в тишине пустыни, нам-то хорошо, — ну, а мир-то как же? Люди рассеяны, как овцы без пастыря, и мучаются, и погибают, жатва была бы, может быть, обильной, но работников нет. Посмотри, как собираются они, как слушают, когда кто обратится к ним со словом от сердца!.. Посмотри, сколько людей тянется к Иоханану на Иордан!.. Мир погибает в страдании, — как же можно уйти от него?

— Мир... — глубоко вздохнул Исмаил, и его грустные глаза сделались еще грустнее. — Большое

слово вымолвил ты, милый! Большое слово! Ох, не всякому под силу иметь дело с миром! Хоть бы немногих-то удержать от гибели, хоть бы немногих просветить светом божественным!.. Но скажи, милый, старику: нет ли в мире чего такого, что манило бы тебя? Ты ведь еще так молод...

И пытливо из-под густых бровей он посмотрел своими ласковыми, усталыми глазами в загорелое лицо Иешуа, чуть озаренное первым нежным отсветом зари, рождающейся за фиолетовыми горами Моаба.

Иешуа чуть смутился. В душе встал прелестный образ чернокудрой Мириам. Но он решительно поднял глаза на старого рабби.

— Нет, рабби, нет в мире ничего такого, что заставило бы меня свернуть с избранного пути... — сказал он. — Я следую только велению Господа, голос Которого я слышу в своем сердце...

— Да благословит Господь путь твой!.. — проникновенно сказал старый ессей. — Великие испытания готовишь ты себе: не любит мир, ох, не любит, когда ему мешают!.. И слишком хорошо думаешь ты о человеке: он обманул уже многих и крепко... Но да благословит Господь путь твой, милый...

Среди высокоствольных пальм замелькала в отдалении белая фигура ессея. Он подошел к деревянному билу и звонкие звуки его вдруг запели

в тишине. Вскоре пустой до того сад наполнился белыми, молчаливыми фигурами, которые торопливо собирались на берегу розового от зари водоема. По луговине, к воде, доцветали последние анемоны...

Ессеи один за другим погружались в розовую воду и, снова облекшись в свои широкие, белые одежды, стекались на широкой поляне среди пальм, кружевные верхушки которых уже рдели под первым поцелуем еще невидного солнца. Одни рабби учили, что утреннюю молитву надо начинать, как только глаз может отличить голубой цвет от белого, но другие, более осторожные, предпочитали ждать до тех пор, пока можно отличить голубой цвет от зеленого, чтобы быть уже вполне уверенным, что день, действительно, уже начался. Ессеи же ждали появления солнца. Все стояли лицом к Иерусалиму. Старый Исмаил и Иешуа тоже совершили в благоговейном молчании строго предписанное обычаем ессеев погружение в воду, и в то время как Иешуа смешался с белой толпой ессеев, Исмаил стал впереди всех. И все, выжидая, склонили головы в сосредоточенном молчании...

И вдруг из-за фиолетовых зубчатых вершин ярким углем выдвинулся край солнца.

— Вознесем Господу молитву света! — в торжественной тишине раздался старческий голос Исмаила. — Благословен еси, Господи, Бог наш и

Царь вселенной, создавший свет и мрак, миротворец, творец всего сущего!..

Иешуа любил молитву, хотя он и разделял мнение, что «лучшая молитва это молчание», и всей душой присоединялся к пожеланию одного из законоучителей, который воскликнул как-то: «Да соизволит Господь, чтобы человек молился целый день!..» Но теперь, перед своим решительным шагом, Иешуа был слишком взволнован и на этот раз молился рассеянно. Точно проверяя свое решение, он просматривал всю свою жизнь: и солнечное детство в тихом, зеленом Назарете, и первое паломничество, такое яркое, такое волнующее, в Иерусалим, когда ему исполнилось двенадцать лет, и эта ужасная встреча с повстанцами Иуды Галонита, которых римляне вели на страшную казнь, и тихая, трудовая жизнь в милой, веселой Галилее, и думы над бедствиями родного народа, и свой уход в ряды повстанцев, борцов за свободу...

— Вознесем Господу молитву любви! — точно издали слышал он старческий голос Исмаила. — Великою, вечною любовью Ты возлюбил нас, Владыка, дом Израиля, и чрезмерными милостями Ты осыпал нас. И как дал Ты праотцам нашим Закон свой святой, так помилуй и нас, учи, наставляй нас на путях жизни...

Но Иешуа был в прошлом и настоящем вместе, полный одного желания: до конца разгадать загадку жизни, понять, к чему все это было, предугадать те ее пути, на которые он теперь с взволнованной душой вступал.

— Слушай, Израиль: Господь Бог твой един есть... — проникновенно подымались над склоненными головами ессеев святыя слова. — Люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всею душою твоею... И да будут слова сии, которые я заповедаю тебе сегодня, в сердце твоём и внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоём, и идя дорогою, и ложась, и вставая... И навяжи их в знак на руку твою и да будут они повязкою над глазами твоими, и напиши их на косяке дома твоего и на воротах твоих...

...О, эти холодные, звездные ночи в безлюдных, бесплодных, страшных — в них гнездились духи тьмы — горах, у огней, в ожидании кровавого боя!..

— Благословен буди Предвечный Бог наш, Бог праотцев наших, Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова... — весь теплясь, взывал в пылающее небо старый Исмаил, — Бог великий, сильный, страшный...

...И были соблазны жгучие, был грех, были слезы раскаяния...

— Ты скала жизни нашей, Ты щит спасения

нашего из рода в род! — пламенел старец Исмаил. — Благодарения и хвалу да воздают Имени Твоему святому и великому за жизнь, которую Ты даровал нам, за души наши, Тобою хранимые, за все чудеса, за все добро, которыми Ты окружил нас — и утром, и днем, и тихим вечером...

Солнце поднялось над горами. Сквозь пальмы проступило сверкающее, но безжизненное Мертвое море, на дне которого вечным сном спали когда-то цветущие Содом и Гоморра, и радостно засияли вокруг спящего озера в оазисе красные огоньки анемонов.

— Свят, свят, свят Господь Саваоф, — весь сотрясаясь, повторял Исмаил, — исполнь небо и земля славы Твоя!..

— Свят, свят, свят Господь Саваоф! — отзывались торжественно белые фигуры. — Свят, свят, свят...

И, когда кончилась молитва, Иешуа приблизился к старому Исмаилу, чтобы проститься с ним.

— Труден будет путь твой, милый... — взволнованно благословив его, сказал старец. — И, когда тяжело ранит тебя жизнь, вспомни, милый, что в тихом Энгадди местечко для тебя всегда найдется...

Пышно-зеленый и жаркий, весь в кружеве роскошных пальм своих, Иерихон со всеми своими садами, красивыми домами иерусалимских богачей, театрами остался позади. И Иешуа, еще более загорелый, весь покрытый белой известковой пылью дорог, спускался среди тучных нив в зеленую долину Иордана. Солнечная дорога была пустынна, но ему не нужно было никого, чтобы найти путь: он отлично знал эти прекрасные места, своим плодородием и пышностью так напоминавшие ему его Галилею.

Чем ближе подходил он к реке, — ее близость сказывалась сладостным ощущением прохлады — тем пышнее и пышнее становилась вокруг него растительность долины. Тамариск, теребинт, зонтичная акация, пальмы, Орехи, фиги, огромные яворы, золотые мимозы, все это, смешавшись, образовывало какие-то пышные, зеленые, полные сладостной тени чертоги. В густых зарослях уже Отцветшего олеандра допевал свои последние песни соловей, а от реки напевно и нежно доносилось кукование последней кукушки. Где-то сзади, в хлебах, четко били перепела, а впереди, над водой, проносились иногда дикие утки, журавли, аисты, тяжелые пеликаны и розовые фламинго.

— Шеломалейхем!

Он поднял глаза. У дороги, на камне, в густой

тени сидел человек лет тридцати пяти, невысокого роста, худощавый. Одежда его говорила, что живет он небогато, но без нужды. И прежде всего бросался в глаза его большой выпуклый лоб, затененный белой чалмой, и эти глаза, мягко глядящие точно из самой глубины души и как будто немного печальные.

— На Иордан? К Иоханану? — спросил своим слабым голосом незнакомец, когда Иешуа ответил ему на приветствие.

— К Иоханану... — отвечал Иешуа. — Ты не знаешь, где он теперь крестит?

— Должно быть, в Вифаваре... — надтреснутым голосом своим сказал тот. — Если хочешь, пойдем вместе послушаем, что он там говорит...

— Пойдем... Ты тоже галилеянин?

— Да...

Солнечной, бело-пыльной дорогой они пошли дальше. Река чувствовалась уже совсем близко. Вдали, над деревьями, громоздились суровые, скалистые горы. И жарко струились солнечным светом точно горящие дали...

Оказалось, что незнакомца зовут Фомой, что раньше он служил у богатых купцов, побывал по торговым делам и в шумной, белой Александрии, и на островах, где кипит веселая эллинская жизнь, и в самой Элладе, и в могучем Риме, и даже на далеком

и суровом Понте. Бродячая и шумная жизнь эта, отягченная всякой неправдой торговой, утомила Фому и теперь он думал устроиться где-нибудь в тишине и кормиться от земли...

— А большую волну пустил Иоханан по народу... — задумчиво проговорил Фома. — Старики говорят, что восстал сам Илия, чтобы — он чуть улыбнулся — возратить сердца отцов детям и непокорливым образ мыслей праведников. Другие, что погорячее, прямо Мессией его объявляют... А законники крепко сердятся: не любят они, когда что помимо их делается!..

Иешуа сбоку, украдкой, посмотрел на него: в тоне Фомы было что-то особенное, как будто недосказанное.

— Да ты сам-то что о нем думаешь? — спросил Иешуа, помолчав и следя своими застенчивыми глазами за причудливым узором босых ног и сандалий по пыльной и жаркой дороге.

— А вот послушаем, посмотрим, тогда и видно будет... — отвечал Фома и улыбнулся хорошей, задушевной улыбкой, которая сразу сказала Иешуа, что его случайный спутник прежде всего добрый человек.

Они вышли на отмель светлого Иордана, быстро несшего свои теперь, к лету, скудные воды в Мертвое море. Проповедник Иоханан, как сообщил встречный мальчик-пастух, был не в

Вифаваре, а в Эноне, близ Селима, где Иордан, точно отдыхая от дальнего бега, раскидывался среди олеандров и папирусов широким, светлым зеркалом, над которым ясно улыбалось голубое бездонное небо и носилась всякая водяная птица. Вдали, на высокой базальтовой скале, хмурился Махеронт, грозная крепость, в которой теперь Ирод Антипа, тетрарх, готовился к войне с кочевниками. А за крепостью, среди лиловых гор Моаба, четко вырисовывалась опаленная вершина горы Нэво, где некогда таинственно скончался Моисей...

Жизнь представлялась здесь, в прохладе, в зелени, на берегу солнечной реки, веселым праздником, но собравшиеся на отмели, у самой воды, люди, — их было сотни две — казалось, совсем не чувствовали этого: боязливо сжавшись душой, они сосредоточенно слушали суровую речь проповедника, высокого, иссохшего, точно опаленного человека в грубой, рваной и неопрятной одежде, с копной черных, нечесаных волос и гневными на все глазами...

— Что говорите вы, что вы сыны Авраамовы?.. — гремел Иоханан своим грубым голосом и глаза его сверкали исступленным гневом. — Господь может сделать детей Аврааму из придорожных камней вот этих! Оставьте гордыню вашу, ибо день великого гнева уже близок, уже лежит секира при корнях дерева и

скоро будет оно брошено в огонь неугасимый... Покайтесь же пока не поздно!..

Вдоль спин его слушателей пробежал холодок и боязливо сжимались их души...

Иоханан, родом из Ютты близ Геброна, происходил из священнической семьи и с рождения был назиром¹, то есть посвященным Богу, и как таковой не стриг никогда волос, сурово постился и подвергал себя всяческим лишениям. Окружавшая его пустыня — суровая, бесплодная, страшная — с ранних лет точно заколдовала эту горячую душу и наложила на нее печать вечной угрюмой печали и озлобления против всей жизни с ее улыбками и цветами. Он одевался в рубище, питался только Саранчой — блюдо, распространенное в тех местах и поныне — и диким медом, который он собирал в расщелинах скал, и, хмурый, жил один среди гиен, шакалов и Мертвых камней. Если на пути его вставала радость, он торопился растоптать ее, а если посылала ему судьба испытание, то он сам удесятерил его тяжесть, может быть, для того,

¹ Название это неправильно отождествляется с появившимся гораздо позже словом «назорей», имевшим совсем иное значение. Назореи это секта аскетов, которые вели жизнь простых кочевников, жили в шатрах, не занимались земледелием и не пили вина. Это были бунтовщики против и тогда сомнительных благ культуры.

чтобы иметь право бросить в лицо грешному миру свои тяжкие, колючие обвинения... Он невольно подражал древним пророкам, невольно как бы рядился в венцы их славы. И силою своего огневого слова и страшного примера он покориł себе несколько сердец, и люди эти стали его верными учениками, бросили все, что имели, и, всегда хмурые и унылые, ревностно истребляли всякие радости как в своей личной жизни, так и в жизни вообще. Казалось, что если бы они могли, они потушили бы и самое солнце... И в этой вечной скорби, злобе и тоске и учитель, и ученики находили своеобразную усладу.

Иоханан знал, что некоторые видят в нем Мессию, освободителя, он сурово отталкивал от себя эту головокружительную, но страшную роль, и в то же время, вопреки его воле, в душе его иногда шептал какой-то голос: а что, если?.. И он точно вырастал тогда и еще горячее, еще грознее гремел против лукавых садукеев, против высохших в бесплодных словопрениях фарисеев, а в особенности против бессердечных богачей. Влияние его росло с каждым днем, и он закреплял душевный перелом в душе своих последователей купанием как символом отречения от жизни старой и притятия грядущей, в корне обновленной жизни².

² Ничего нового, однако, в купании Иоханана не было:

— Горе вам, богатые! — исступленно гремел Иоханан, стоя на камне над толпой, волосатый, дикий, весь точно в огне. — Горе вам, ныне пресыщенные, ибо вы узнаете, что такое голод! Горе вам, ныне смеющиеся, ибо вы узнаете, что такое слезы и стоны! Он, — зловеще воскликнул проповедник, — он стоит уже у дверей и стучит!..

В смятенной толпе слышались рыдания. Некоторые, побледнев, закрыли лица руками. И все пугливо надвинулись к гремящему проповеднику.

— Каемся, каемся... — слышались взволнованные, робкие голоса.

— Возлей же на нас воду скорее...

И Иоханан, сойдя с камня, все такой же грозный, точно весь заряженный громами и яркими молниями, зачерпнул огромными и грязными руками своими светлой, прохладной воды в напоенной солнцем реке и торжественно возлил ее на чью-то седую, набожно склоненную голову...

— Нет, недоброе сердце в нем... — раздумчиво, но решительно проговорил вдруг Фома. — Он свою правду больше любит, чем людей. Людям все равно, за что ты бьешь их, за дело или без дела, им все больно...

фарисеи, очень заботившиеся о распространении иудейства среди язычников, тоже — перед обрезанием — купали обращенных.

Иешуа рассеянно посмотрел на него. Он был весь переполнен своим. Та новая просветленная, вся Божья жизнь, о которой он столько думал, по которой так томился, вдруг почти осязаемо забродила теперь вокруг него. Да, уничтожить тяжкую власть законников и богачей, снять с истомленных плеч людей ярмо, — с одних бедности, с других богатства — оросить их иссохшие сердца живою водою слова, идущего из сердца, — вот, вот только одно усилие еще, и вся жизнь зацветет, как зеленый луг нежными лилиями по весне, и жалкий, от века приниженный человек станет человеком свободным, таким, каким он должен быть, ибо не сын ли он Божий?.. Ведь он, Иешуа, не один со своими думами — вот Иоханан с грозным словом своим, вот его ученики, добровольно во имя Господа отрекшиеся от всех утех жизни, вот все эти бедные люди, которые толпятся около пророка в трепетном ожидании, когда он, освобождая их от прежней греховной жизни, прольет на голову их чистой Божьей воды...

Да, и он в эти торжественные минуты последнего прощания со своей прежней жизнью, со всеми ее блужданиями бездорожными, искушениями и грехами, должен принять это очищение водное и с этого дня начать решительно и раз навсегда ту новую жизнь, которая неудержимо наливалась в нем, как наливаются по

весне почки на деревьях. И, не обращая внимания на Фому, который говорил рядом с ним что-то ласковое, он решительно шагнул к Иоханану.

Проповедник остановил на нем свои гневные глаза. Он встречался уже с Иешуа, слышал его речи, видел, как жадно слушает его народ, и сам даже говорил с ним раз-другой, но сегодня он не узнавал его: так одухотворенно было это смуглое, опущенное черной бородкой лицо, с такой необыкновенной силой сияли эти темные, застенчивые глаза.

— Ты хочешь, чтобы и на тебя я возлил воду? — спросил Иоханан.

— Да... — взволнованно отвечал Иешуа. — Я хочу этого — в знак вступления в новую жизнь...

Он снял свой потный судар, снял верхний плащ, талит, со священной бахромой по рукавам и, оставшись в одной светлой тунике, благоговейно склонил голову... Еще мгновение и всем своим существом он радостно ощутил благодатную свежесть воды, которая пролилась ему на голову и крупными алмазами, сверкая и звеня, закапала с его волос в реку...

Взволнованный и сияющий, Иешуа замотал судар, перекинул через плечо свой коричневый плащ, от которого пахло пылью, и, потупившись, медленно пошел зелеными пышными зарослями к горам заиорданским, сам не зная ни куда, ни

зачем...

В сияющем небе, широко раскинув крылья, летел к далекому, мрачному Махеронту большой горный орел...

III

Заиорданье было пустынно. Немногие оседлые жители его пугливо теснились к реке, под защиту стен грозно-неприступного Махеронта. В горах же только гремели белопенные потоки, жили своей вольной жизнью дикие звери — олени, медведи, барсуки, кабаны, газели, пантеры, а иногда даже и львы — да таились демоны... Иногда, когда римляне очень уж теснили их, сюда отступали на короткое время отряды повстанцев-патриотов и просто разбойничьи шайки, промышлявшие по большим дорогам, не щадя ни римлян, когда они были в небольшом числе, ни своих. Иногда из-за гор, из пустыни, забредали сюда и шайки кочевников...

Иешуа, выйдя из зеленых зарослей долины, шел по ослепительно-белому на солнце подъему в горы. Слева от него рокотал по дну каменистого ущелья зеленый, весь в седых космах поток, справа резкими изломами уходила в небо бесплодная гора... Но Иешуа не видел ничего этого — он все просматривал сгоревшие дни своей жизни и

старался понять до дна смысл всего, что было, отсеять от них чистое золото руководящей истины. И этим чистым золотом он считал это вот сознание ошибки, это торжественное отречение от всего прошлого и эту готовность к полету в неизвестное, но совсем, совсем новое будущее...

Он остановился на крутой, опаленной скале, над бунтующим внизу по камням потоком, вопрошая сердце свое: готов ли он?

И снова встал перед ним прелестный, ласковый образ Мириам с ее бархатными глазами. Оторвать ее от сердца было нестерпимо больно, но — ненадежен раб, который, взявшись за плуг, с сожалением оглядывается назад! Или все, или ничего — другого выбора нет!..

И вдруг он содрогнулся всем телом: из узкой расщелины скалы на него, оскалившись, глядел своими темными впадинами человеческий череп! Он остановился: вот конец всех земных путей и — твой конец...

Он содрогнулся и пошел дальше. Он не видел ни этого неба жаркого, ни бунтующего в теснине потока, ни светлой ленты Иордана внизу, среди зелени, ни этих синих, зовущих в себя всякое молодое сердце далее и все шел вперед, сам не зная ни куда, ни зачем... Он не чувствовал даже голода, хотя он не ел с самого утра: прежде всего надо все решить. И он шел среди пылающего жара дня,

садился иногда в холодок скалы отдохнуть и снова шел, и все собирал себя и всю жизнь, и всю силу свою в самой глубине взволнованной души своей. В эти мгновения он ощущал душу свою бездонной, светло-вечной... Эти бескрайние дали во все стороны, которые в миг облетал он взором, как бы включая их в себя, и это бесконечное небо, в котором незримо таился Бог и которое отражалось в душе его, все говорило ему без слов, но властно, что нет ей ни конца, ни начала... И Точно крылья белые вырастали у него за плечами...

Голод, наконец, основательно напомнил ему о себе. Он сел, вынул из-за пазухи кусок тонкого сухого хлеба — кихар-লেখем звали его иудеи, круг хлебный — и несколько сушеных фигов и стал есть. Этого было мало, но больше ничего не было.

Наступил уже вечер. Как это всегда бывает в южных странах, вся земля и все, что на ней, в тихие, торжественные минуты заката солнца точно просияло каким-то внутренним, теплым светом: и эти хмурые ущелья, в которых змеились уже невидимые отсюда, с высоты, потоки, и эти опаленные скалы, и серебро Мертвого моря вдали, и каждый камень, и каждая редкая в этом царстве бесплодия и смерти былинка...

Он вышел на безжизненное плоскогорье, усеянное обломками скал и точно выметенное ветрами пустыни. Вечер быстро догорал и, хотя

закат и пылал еще весь в раскаленном золоте и багрянице, сиреневые сумерки уже затягивали долины. Иешуа понял, что в темноте спуститься этими ущельями будет очень трудно. Но сейчас же он и успокоился: и не это видал он в жизни!.. Ночь теплая, летняя и короткая, и тут, под звездами, в уединении, ему будет хорошо... Звери? Он огляделся. Неподалеку лежал большой и плоский обломок скалы, весь исчерченный белыми мазками помета орлов, — если забраться на него, никакой зверь не достанет... Злые духи пустыни? Но там, вверху, среди уже загорающихся звезд — Бог, без воли Которого и волос один не упадет, говорят, с головы человека...

Он подошел к краю обрыва. Слева чуть мерцали огоньки в Махеронте, где сидел теперь Ирод Антипа со своими солдатами. Там, за Мертвым морем, скрывался во тьме его милый Энгадди, а за ним, дальше, на краю страшной пустыни, старый Геброн, близ которого в пещере Макпэла покоился прах Авраама, Исаака и Иакова. Правее стояло мутное зарево огней над уже невидным теперь Иерусалимом среди его бесплодной, как душа книжника, пустыни, а ближе, справа внизу, играли огоньки Иерихона, а еще ближе, на самом берегу Иордана, одинокой звездой горел чей-то костер — может быть, то Иоханан бдит со своими думами... Вздохнув, Иешуа отошел

от обрыва и забрался на свою скалу...

Отсюда огней земли было совсем не видно, но в великолепии несказанном раскинулись над его головой огни неба. И долго-долго бродил он среди звезд восхищенными глазами и чувствовал, как все более и более успокаивается его душа, как все ярче, все несомненное встает в ней та Божья правда, которой он готовился отдать всего себя... И мнились ему там, в серебристых глубинах неба, светлые хороводы ангелов добрых, и казалось ему, что он слышит сладкие и торжественные песнопения их: слава в вышних Богу, на земле мир, в человеках благоволение... Близок был тут, в пустыне, Бог...

Вспомнился Иоханан суровый и его угрозы... «Нет, это не то! — вдруг решил он. — Нет, не то... Не судить мир нужно, не грозить, но, любя, спасти...»

Вся душа его согрелась и точно белыми крыльями заплескала, и на обращенных к звездам глазах выступили слезы умиления...

Из гор дохнуло ночным ветром. Иешуа снова почувствовал приступ голода, но есть было нечего. Он сидел и, обняв свои колена скрещенными руками, смотрел теплыми глазами в звездные поля... Где-то в ущелье дико заплакал хор шакалов. Темные тени зверей, крадучись, беззвучно носились среди камней и, сверкая золотисто-зелеными

глазами, хищно урчали иногда и дрались... И опять потянуло ночным холодком...

Усталость брала свое... Он опустил голову на колени и вдруг услышал издавна знакомый ему тайный голос. Он звал его искусителем — сын своего века, он, как и все, верил в духов тьмы... И, как всегда, говорил дух тьмы не словами человеческими, а как-то без слов, точно горного ветра дыхание, точно рост трав, но так понятно, как если бы говорил то сам Иешуа...

— Так... — сказал тайный голос. — Что же теперь скажешь ты о своих взлетах в небо, сын Божий? Бот тебе и холодно, и голодно, и рыщут вокруг тебя дикие звери, от которых ты предусмотрительно забрался на этот камень — что же твой Отец? Восстань и преврати словом своим эти камни в хлеб и насыться...

— Не сказано ли в Писании, что не хлебом единым жив человек? — отвечал ему Иешуа, тоже без слов.

— Сказано-то оно сказано, но толк-то в этом какой? — отвечал тайный голос. — Не хлебом единым... Пусть! Но и хлебом, прежде всего хлебом... Вон какую ненависть зажигает Иоханан к богатым, а из-за чего? Все из-за хлеба...

— Ты ошибаешься: он прежде всего хочет справедливости...

— А что такое справедливость, как не равное

распределение хлеба? Вы все делаете, неизвестно для чего, вид, что хлеб земной для вас это так, пустяки, а на нем стоит все. Нет хлеба, нет тебя...

— Я не тело, а дух... — отвечал Иешуа, испытывая в душе знакомое, неприятное чувство раздвоения и шатания. — Дух извечный...

Он вспомнил свое недавнее ощущение бескрайности души своей и укрепился...

— Дух?.. Ну, не знаю... — насмешливо сказал голос. — Если дух, так пойдем...

Иешуа вдруг увидел себя на краю золотой кровли храма иерусалимского, над его дворами, в каменной глубине которых кипела как всегда пестрая, горластая толпа. Он сделал невольное движение назад. И — почувствовал его усмешку.

— А!.. — ядовито уронил тот. — Что же ты?.. Если дух, так бросься вниз — духу ничего не будет...

Иешуа снова потерял точку опоры. И, сдерживая раздражение, он отвечал:

— Ну, и брошусь, и разобьюсь о камни или сбегутся вот сейчас гиены и растерзают меня так, что никто никогда и не узнает, куда я пропал, а все же в основе жизни моей — дух... Если дух отойдет от тела, оно, как дерево, как камень, в нем нет жизни, говорят тогда. Значит, жизнь в духе...

— Да, на словах-то у тебя выходит как будто и так... — серьезно сказал незримый, но

несомненный. — Но в жизни... в жизни лучше от гиен и шакалов убраться подальше, хотя они ведь... ха-ха-ха... тоже, надо думать, духи!.. А? Так дух от духа и бегаёт, и прячется, и поедает дух духа, и все дрожат... Но — духи.

Иешуа весь, не только телом, но и всей душой, вздрогнул и — проснулся. Над ним теплились звезды... Ветер, дыхание Божие, пронёсся над горами. И вдруг по спине его пробежали колючие мурашки и он ясно почувствовал, как под чалмой его зашевелились волосы: вокруг его камня, внизу, светилось, переливаясь зелено-золотистыми жуткими огнями какое-то живое, зыбкое кольцо. То были гиены и шакалы, сбжавшиеся к добыче... Звери нетерпеливо перемещались, иногда грызлись и визжали и от них шел дикий, терпкий запах, который был слышен и на скале. И они не сводили глаз с него, добычи, близкой, но недосыгаемой. Холодной волной прошёл страх по всему его телу, и он быстро вскочил на ноги... В одно мгновение потухли живые огни и тени беззвучным поскачком скрылись среди темных камней...

Иешуа провел рукой по сразу вспотевшему лбу. Огляделся... Вставала луна. Из гор тянуло каменным холодом. Неприятное ощущение голода томительно поднялось в нем. И он, вздохнув, снова опустил усталым телом на жесткий камень и

склонил голову на колени. «Да, что он там такое говорил?..» — подумал он и куда-то плавно и поспешно поплыл. И сразу почувствовал его присутствие.

— Тебя потревожили дикие звери? — сказал тайный голос. — Не беспокойся: эти не достанут тебя... Разве барс набежит... А мы пока можем побеседовать: никак мы с тобой и не сговоримся, и не наговоримся! А сколько времени уже беседуем — помнишь ты те ночи, когда ты с повстанцами мерз так же вот в горах?.. И, боюсь, долго еще придется нам перебирать всю эту ветошь... Вот вчера полил ты себе водички на голову и новый человек готов, и новая жизнь, и все там такое... Но ты сам знаешь, что совсем это не так просто. Ведь не успели еще волосы твои и просохнуть как следует, как ты вот снова вступил в единоборство со мной, как бывало, в старину Иаков с Адонаи... Точно жить без меня ты не можешь! А с другой стороны, смешной, ты, как и все, считаешь меня каким-то врагом: дух тьмы!.. А вы дети света, что ли? Ну, впрочем, оставим эти препирательства: мы с тобой, слава Богу, не в синагоге... Вместо того чтобы играть, как ребенок погремушкой, жалкими словами, лучше жить... Смотри! — сказал он, и в облаках, набегавших на луну, Иешуа увидел вдруг легионы, которые, блестя шлемами и щитами, неудержимо текли к неведомым битвам. — Ты

узнаешь их? Ты помнишь, как еще ребенком, увидев связанных римлянами повстанцев Иуды Галонита, ты мечтал, сжимая кулачки, стать во главе Иудейских ратей, стереть всех насильников с лица земли и дать народам свободу и радость? Но повстанчество это была только детская игра. Я дам тебе все эти легионы — только поклонись мне... И не мне, не мне, а правде жизни, которая страшна только младенцам!.. Я дам тебе власть, неслыханную от начала мира, и ты всемилостивейше повелишь людям быть счастливыми... Без властного повеления свыше никогда слепыши эти не прекратят своей остервенелой грызни из-за жалкой корки хлеба, — вот он, хлеб-то твой! — из-за самки вонючей какой-нибудь, а то даже из-за слов, выдуманных и ненужных... Только силой можешь ты заставить эту мразь быть счастливой под солнцем. Весь мир, если хочешь, твой — бери его!

И увидел Иешуа на безбрежной солнечной земле царства мира во всей славе их: пышные дворцы с лесом белоснежных колонн, величественные, полные вековых тайн храмы, грозные рати и колесницы с колесами, как солнца, и караваны бесконечные, и корабли, море отягчающие, все, что видел он в скитаниях своих плотником... Но — равнодушно было сердце его ко всей этой пышности мирской...

— Не хочешь этого? — продолжал голос. — Ну, так что же? Безбрежна жизнь, и много дорог бороздит землю... Тогда возьми твою сладкую Мириам, испей радость любви с ней до дна! Что, в самом деле, мучаешь ты бедную девочку? Тридцать уже весен встретил ты на земле — полпути, во всяком случае, уже пройдено: чего же ждать? А в конце пути, и уже скоро, ты знаешь, что...

И Иешуа четко увидел пожелтевший череп, застрявший в расщелине скалы, с его черными впадинами глаз и с оскалом загадочной улыбки в пустоту.

— А ведь это, может быть, череп Моисея вашего, неизвестно за что прославленного... — продолжал голос. — Ведь он тут где-то поблизости скрылся навсегда... А где твой любимец, сладкозвучный Исаия? А горестный Иеремия с его громами? Ветер пустыни, смешав прах их с высохшим пометом верблюдов, носит его неизвестно где... Так на что же нужно было все это их кипение?..

Все было верно в речах его и это было ужасно. Душа его замутилась темным чувством бессилия и глубокой тоски.

— Только признай правду мою, правду жизни и все сразу станет на свое место, и тебе будет легко и радостно... — говорил тот вкрадчиво. — Да и людям будет с тобой, поверь, легче: ты слишком

многого требуешь от них — в этом старый Исмаил прав. Они, слушая тебя, по благодушию делают вид, что они все это очень тонко понимают, но на самом деле им без таких вот, как ты, баламутов было бы много приятнее под солнцем...

— Отойди от меня, сатана! — содрогнулся Иешуа, чувствуя, что ему некуда отступить. — Написано: Господу Богу твоему поклоняйся и Ему единому служи.

— Верно: написано! — насмешливо сказал голос. — Вот законник! Но, смотри, не раскайся!..

И он тихо засмеялся, но точно вся вселенная от этого смеха в основаниях своих всколебалась...

В испуге Иешуа снова открыл глаза. Все тело его болело от жесткого камня и болела душа. На востоке, за горами, уже черкнула золотисто-зеленая полоска зари. Между дальних камней хищно, неслышно скользили тени гиен и шакалов. И сильными взмахами уносился в светлеющее небо огромный орел...

Обратившись лицом к Иерусалиму, Иешуа сотворил краткую утреннюю молитву и, усталый, стал спускаться среди камней напрямки в долину Иордана. Он удивился, как скоро дошел он до реки. У Энона был слышен шум возбужденной толпы. Иешуа прислушался: там происходило что-то непонятное. И шум приближался...

Из-за поворота дороги показался вдруг

небольшой отряд воинов. Весело сверкало их оружие на утреннем солнце. А посреди них виднелась высокая, — он был головою выше их — кудлатая, опаленная, суровая фигура Иоханана-проповедника. Он шел широкими шагами, смело, и на обожженном ветрами пустыни лице его было не только бесстрашие, но дерзкий вызов... Иешуа он даже не заметил...

Вдоль реки и по дорогам виднелись смущенные кучки почитателей проповедника.

— В чем дело? — спросил Иешуа у первого же встречного. — Что случилось тут?

И вперебой, махая руками, перепуганные люди сообщили ему, что Иоханан в последнее время все приставал к Ироду за его распутство и богатства несправедливые. Тому надоели эти постоянные вызовы, он выслал воинов, которые, арестовав, и повели Иоханана в Махеронт... Иешуа потупился — ночное вспомнилось... И, подняв глаза, он увидел недавнего знакомого своего, галилеянина Фому, который издали смотрел на него исподлобья и улыбался своей доброй и точно беззащитной улыбкой...

IV

В часе ходьбы от жаркого Иерусалима по иерихонской дороге, по пологому склону холма

разбросаны среди виноградников и пальм дворики небольшого селения Вифании. В отдалении, среди пышных садов, виднеются красивые загородные дома иерусалимских богачей. На осиянных вечерним солнцем пыльных улочках селения предпраздничная суэта: пастух торопливо гонит стадо по домам, проходят женщины с водоносами, трусят обремененные поклажей ослики, устало тянется из далеких стран пыльный, опаленный караван верблюдов...

Наискось от синагоги, через площадь, стоит бедный домик горшечника Элезара, ессея: ессеи были и светские, остававшиеся по тем или иным причинам в миру. У входа в домик, как всегда у правоверных евреев, прикреплена мезуза, небольшой ящичек, в котором положен кусок пергамента со стихами из Закона о любви к Богу и с благословениями тому, кто ревностно исполняет святые заповеди Его. Посреди двора дремлет старая смоковница, по стволу которой змеями ползут виноградные лозы. Везде видны только что сделанные и сохнувшие горшки всевозможных размеров...

Мягко озаренная заходящим солнцем, Мириам, стройная, хорошенькая девушка с тяжелыми черными косами и мягкими, точно бархатными глазами, мечтательно, напевая какую-то песенку, торопливо собирает с грубого

каменного забора высохшее за день белье. Ее сестра Марфа, старше ее, уже привядшая, худенькая, с милым, тихим лицом, хлопотливо возится вокруг дома...

На плоской кровле кенесет, дома молитвы и собраний, который греки называли синагогой, появился хазан и, подняв длинную, бросающую на закатном солнце резкие молнии Трубу, затрубил. И по звуку этой трубы прекратились все работы в полях: близко начало святой субботы. В воротцах вдруг появился маленький ослик со всякой поклажей и его хозяин, Элезар, очень похожий и фигурой, и выражением тихого, худощавого лица на Марфу.

— А разве рабби все нет? — сбрасывая пыльный, коричневый с белыми полосами плащ, спросил он у Марфы.

— Нет еще... — отвечала она. — А что это за шум там на улице?

— Иерусалимские богачи разгулялись... — разгружая ослика, хмуро сказал Элезар. — Вот-вот начало субботы, а им хоть бы что! И сын Каиафы, Манасия, с ними...

По пыльной, сияющей улице мимо домика шла веселая толпа богатой молодежи. Посреди толпы на богато украшенных носилках весело кричала что-то и хохотала, видимо, слегка пьяная, рыжеволосая красавица, известная всему

Иерусалиму — и не только Иерусалиму — под именем Мириам магдальской. В ее горячих, странного густо-золотого цвета глазах, в пьяной улыбке прекрасного лица, в каждом изгибе стройного тела, в каждом звуке красивого грудного голоса слышалось знойное трепетание жизни. При одном виде ее, при одном даже имени, благочестивые люди плевались, с опаской говорили, что в ней семь бесов и — украдкой не могли не любоваться ею...

— Вон что разделявают! — вздохнул Элеазар. — О-хо-хо-хо...

И не успело это шумное шествие скрыться, как во дворик вошел весь пыльный и загоревший Иешуа. В одной руке его был длинный посох, а в другой несколько анемонов. Все лица просияли теплыми улыбками.

— Шелом! — с улыбкой приветствовали Иешуа, и его застенчивые глаза тепло просияли.

— А мы боялись, что ты уж не придешь... — отвечал Элеазар, ласково ударил разгруженного ослика по заду, и тот сам прошел на свое место под убогий навес из кукурузной соломы.

Мириам, вся сияя, приняла от гостя его посох и плащ.

— Возьми и полевые лилии эти... — немножко застенчиво сказал Иешуа. — Последние... Я никак не налюбуюсь на них:

воистину, Соломон во всей славе его не был одет прекраснее их!..

— Садись-ка под свою смоковницу, а я сейчас умыться тебе подам... — сказала Марфа. — Смотри, какой ты весь пыльный... А ты, Мириам, плащ его хорошенько встряхни... Словно ты со всей Иудеи на себя пыль собрал, рабби...

— Ну, что же, был в Энгадди? — спросил Элеазар.

— Был. Простился... — отвечал Иешуа, садясь на прохладный плоский камень под смоковницей. — А потом на Иордан прошел, к Иоханану... Сегодня по утру воины Ирода арестовали его...

— Да что ты говоришь?! — широко открыв глаза, уставились на него все. — А видел, что у нас на улице богачи-то разделявают. Этим все ничего, все можно...

Марфа принесла большой таз с кувшином холодной воды, помогла Иешуа вымыть лицо и руки, а потом, снова усадив его, ловкими, спорыми движениями омыла его ноги и отерла их утиральником.

— Ну, вот теперь и хорошо... — удовлетворенно проговорила она, поднимаясь. — А теперь ты умойся, Элеазар... А ты что все стоишь да слушаешь, Мириам? Надо трапезу готовить... Можно ли так?

— Ах, Марфа, Марфа, о многом ты тревожишься и хлопочешь... — покачал с улыбкой головой Иешуа. — А действительно человеку одно только нужно...

— О чем говоришь ты, рабби?

— О Боге говорю я, Марфа...

— Прав ты, рабби, грешники мы... Все суетимся, все хлопочем, а о Боге-то и подумать некогда... — вздохнула Марфа. — А все же так нельзя: и Богу приятно будет, если я гостю услугу окажу...

И она, убедив таким образом себя и в своей правоте, торопливо ушла в дом. На крыше синагоги снова появился хазан, угольно-черный и четкий на фоне зари, и затрубил во второй раз. И по звуку этой трубы кончались все работы в селениях и городах.

— Ну, ну, поторапливайтесь... — обратился Элеазар к женщинам. — Скоро звезда...

— Даю, даю... — отозвалась хлопотунья Марфа, расстилая циновки вокруг низенького круглого стола. — Мириам, где ты опять?..

— Иду... — отозвалась девушка из-за угла: спрятавшись от всех, она, нежно, шепотом, приговаривая слова любви, бережно, кончиками губ, целовала полевые лилии Иешуа. — Иду...

— А что ты запоздал так? — спросил Элеазар.

— Да сандалиии совсем разбились... —

отвечал Иешуа. — И зашел к Иуде Кериоту подчиниться... Такая у него нужда, такая нищета, что смотреть больно! Старшая-то его, Сарра, уже мажет лицо и губы и, говорят, часто является домой только по утру. Присмотрел было Иуда крохотный клочок земли себе да домик-развалюшку под Иерихоном, и недорого просят, а где взять? Так и мучаются... Хотят в Иерусалим перебираться — авось там побольше работы будет... Сколько неправды, сколько зла, сколько страдания!

— Да, да... — вздохнув, потупился Элеазари, подняв глаза в небо, прибавил: — А вот и звезда...

Как раз в это мгновение на крыше синагоги появился хазан — смутная тень среди нежно-пепельных сумеречных отсветов — и протрубил в третий раз, возвещая начало праздника. И по всей Вифании зажглись тихие огни святой Субботы.

— Ну, приступим же к трапезе чем Бог послал... — ласково сказал Элеазар. — Возляжем...

Все возлегли вокруг низенького столика. Элеазар в сосредоточенном молчании других сотворил молитву, а затем с тихой торжественностью благословил и свет горящего светильника, и немудреные яства, и вино, и ароматы. И все приступили к вечеру.

Слово Суббота значит по-еврейски покой. Так называли они седьмой, праздничный день недели,

покой которого они блюли самым строжайшим образом. Иудеи верили, что обрезание и Суббота были установлены при самом сотворении мира: «Первою песнью человеческой, — говорили иудеи, — была субботняя песнь, которую воспел Адам в начале седьмого дня, когда его грех был отпущен ему...» Закон о Субботе, как и всякий другой закон, подвергался усиленной разработке. Прежде всего нужно было установить, когда именно начинается Суббота. С наступлением ночи? Прекрасно. Но когда же именно начинается ночь? При появлении одной звезды, или двух, или трех? Вопрос этот представлялся настолько важным, что некоторые знаменитые законники, как двенадцать столетий спустя Маймонид, ставить его ставили, но разрешать не осмеливались. И затем: какие работы воспретить и какие считать допустимыми? Можно ли, например, зачерпнуть воды, чтобы напиться? Или перейти из одного угла комнаты в другой? И после бесконечных и, как всегда, исступленных споров был выработан список тех тридцати девяти работ, которые были запрещены в Субботу: сеять, пахать, жать, вязать снопы, молотить, веять, молоть, печь, стричь овец, отбеливать шерсть и т. д., и т. д., вплоть до: завязывать узел, развязывать узел, ловить дичь, убивать ее, солить ее, написать две буквы, строить, ломать, зажигать огонь, тушить его, переносить какой-нибудь предмет с одного

места на другое...

Но когда все это было закреплено, оказалось, что этого далеко недостаточно. В самом деле, если запрещено завязывать и развязывать узлы, то надо точно знать, о каких именно узлах идет речь. После долгих и горячих споров было установлено: нельзя завязывать и развязывать морской узел и узел погонщика верблюдов... Полтора века спустя рабби Мейр пояснил еще точнее: если узел можно развязать одной рукой, то развязывать его не грех. Кроме того, по его мнению, женщина могла шнуровать свое платье и завязывать ленты своего головного убора; можно также завязывать обувь, можно завязывать меха, содержащие вино или масло. Но по мере этих разъяснений трудностей вставало все более и более. Написать две буквы нельзя — прекрасно. Ну, а если эти буквы будут взяты из алфавитов разных языков? Или если написать их чернилами разных цветов? Или если одну букву написать одной рукой, а другую — другой? И после долгих обсуждений законники выносили решение: да, если написать эти буквы на двух стенах, сходящихся пол углом, но так, что обе буквы можно видеть разом, то это несомненный грех. Но если эти буквы начертать дорожной пылью или соком какого-нибудь плода, словом, чем-нибудь, что легко стирается, то греха нет. Нет также греха и в том, если написать одну букву на

одной странице книги, а другую на другой так, что вместе прочесть их нельзя. Пожар тушить, конечно, нельзя, но если язычник предложит потушить его, то не надо говорить ему ни да, ни нет. Если кто тушит светильник из боязни язычников, воров, злых духов или по болезни, чтобы иметь возможность заснуть, греха нет, но если это делается ради экономии, тогда грех. Подставить тарелку под светильник можно, но налить в эту тарелку воды нельзя, так как это значило бы гасить искры, а это — нарушение Закона. Помочь женщине-родильнице можно, можно полоскать больное горло, но никак нельзя перевязать сломанную ногу или омочить холодной водой воспаленную часть тела. И если на кого-нибудь обрушится дом, и если *наверное* известно, что он еще жив, и если *наверное* известно, что он единоведец, то можно придти ему на помощь, а если *наверное* это неизвестно, то нельзя. Но некоторые случаи так и остались спорными: рабби Гамалиил считал, что если кто, забывшись, напишет две буквы, одну утром, а другую вечером, то он все же виновен, но другие законники утверждали, что в этом вины нет. Рабби Мейр говорил, что хромой может идти на костылях, а рабби Иосия не допускал этого: это перенесение предметов с одного места на другое. И по той же причине портному не советовали выходить со своей

иголкой в пятницу вечером: он может забыться и носить на себе иголку и в Субботу. И осталось нерешенным: можно ли есть яйцо, снесенное в Субботу, и можно ли в этот день тому, кто поднялся по лестнице взглянуть на свой голубятник, переставить ее, чтоб заглянуть в другое окно?.. Люди строгие, вроде последователей Шаммая, запрещали даже обучение детей в этот день, даже уход за больными, утешение страждущих, даже милостыню! Во время восстания Маккавеев часть повстанцев, захваченных врагом в день субботний, дала без сопротивления перебить себя до последнего, так как обнажить меч в Субботу было бы грехом...³

³ Но было бы в высшей степени ошибочно думать, что это крохоборство было свойством исключительно одного еврейства: так называемые христиане очень охотно приняли это наследие от иерусалимских рабби. Так, законники православные ломали голову над подобными же вопросами: «Едучи на коне пети ли себе? — спрашивали они, разумея под этим, можно ли петь что-нибудь духовное, едучи верхом. — Богородицын хлебец вкусив, мыться ли того дня? Попу своя жена благословити ли рукою?» И иногда отцам духовным удавалось благополучно разрешать великие сомнения эти и выносить решения ясные и точные: «В говенье детяти молоду коровьего молока не ясти... — говорили они. — Два говенья мать сеет, а во третье не дати ему ясти. В говенье не достоин сидети нога на ногу взложивше. Аще кто помочитя на восток, да поклонитя 300. Поп, аще хочет литургисати, да

— Кушай же, друг... — угощал Элеазар своего дорогого гостя и друга. — Вот тут рыба с вашего Генисаретского озера — сам вчера выбрал для тебя в Иерусалиме у Рыбных ворот. Вот козий сыр, а это, если хочешь, свежие халлот — наша Марфа мастерица печь их, как ты знаешь. Вот фиги, виноград сушеный, а в саннаате — верблюжье молоко... Хотя от нас, ессеев, ты и ушел, но мяса, надеюсь, ты не ешь по-прежнему?

— Я все ем, Элеазар... — отвечал Иешуа. — Не то оскверняет человека, что входит в уста, но то, что исходит из уст. Ибо из уст, из сердца человеческого исходят злые помыслы, убийства, злоба, корысть, коварство, непотребство, гордость...

— Ох, не знаю уж, что и думать! — сказал тихо Элеазар. — Сердце мое всегда соглашается с тобою, рабби, но, с другой стороны, что же это будет, если мы все будем колебать так Закон? Посмотри в Иерусалим: все так и кипит там спорами о Законе, — послушать так кажется, все за Закон душу положить готовы! А между тем в то же

не яст луку прежде за один день...» и т. п. А в средние века католические богословы никак не могли разрешить: если случайно причастие упадет на пол и его станет грызть мышь, то что же она, в сущности, грызет, простой хлеб или тело Христово?

время какое небрежение к Закону и прежде всего со стороны тех, кто первые должны были бы дать народу пример благочестия и доброй жизни... Во дворцах богачей с утра и до утра гусли и тимпаны и льется рекою иноземное вино, и пляшут блудницы, храмовники с головой ушли в борьбу за власть и за богатства свои, народ раздирается смутами всякими. А римляне смотрят на все это бесплодное кипение наше и смеются. И, думается мне, Закон это единственный стержень, на котором мы еще держимся вместе — вынь его и все рассыплется...

— Во многом прав ты, друг, но стержень для человека не тот писанный Закон, в котором книжники громоздят слово на слово и правило на правило, так что человеку, не нарушив Закона, и шагу ступить нельзя стало, а другой, вечный Закон, который незримо написан в каждом живом сердце человеческом. Как жить, когда поговорить с иноверцем преступление, войти в Тивериаду — грех, ибо у городских ворот кто-то поставил изображение цезаря, от хлеба вкусить грех, потому что он, может быть, испечен из печи, сложенной из кирпича, купленного у язычника?.. Так жить нельзя! И единственный, написанный в сердце человека Закон освобождает от всех этих пут и открывает врата в то мальхут-ха-шамаим, в то царствие Божие, о котором томились все пророки...

— Так... — согласился Элезар. — Но ты же

знаешь, что мальхут-ха-шамаим понимается не всеми одинаково. Одни понимают его, как царство правды, свободы и равенства, которое святыми усилиями праведников может быть установлено на земле, а другие, как мы, ессеи, верим, что царствие это наступит для человека после того, как он в смерти сбросит с себя нечистые оковы тела и вернется в блаженное состояние, в котором он пребывал до воплощения. Фарисеи со времен Маккавеев стали учить, что для жизни блаженной воскреснет не только дух наш, но и тело...

И Иешуа, и Элезар чутко следили за веяниями своего века, сердца их были устремлены более или менее в одном направлении и это очень укрепляло их давнюю дружескую связь.

— А я думаю, — тихо сказал Иешуа, и глаза его засияли, — что царствие Божие не за гробом, не здесь и не там, а внутри нас. Не сказано ли: добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое? Если верно, что от избытка сердца говорят уста, то еще более верно, что из сердца его течет вся жизнь. Возжешь ты в сердце своем божественный свет любви и ты тотчас же вступаешь в это царство сынов света, вся жизнь преобразается для тебя и ничем ненарушимое блаженство воцаряется в душе твоей... И неписанный, но незыблемый Закон этот знаем мы все

от пророков, от старого Гиллея, слышим его в храме и в синагоге ежедневно: люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всем разумением твоим, всеми силами твоими и ближнего твоего, как самого себя... В этом весь, — подчеркнул он голосом, — Закон и пророки, а все остальное — мусор слов человеческих...

— Как понять, где правда? — потупился Элеазар. — Сердце всегда, говорю, соглашается с тобою, рабби, но как же быть с тем старым, чем жили наши предки столько веков? Когда впервые услышал я тебя, рабби, — тепло прибавил он, — мне показалось, что я точно из мертвых воскрес. Но вот все же смущаюсь...

И вокруг горящего, тихого света Субботы, в ночи летней, полной стрекотания цикад, продолжалась тихая беседа все о том же, о чем говорили там в те времена все: о мучительном разделении людей, о тяжелой власти богачей, храмовников и римлян, о том, что спасение должно быть уже близко по тому одному, что жить так дальше, казалось, не было сил...

— Пора бы, думаю, гостю нашему и покой дать... — сдерживая зевок, проговорила уставшая за день Марфа. — Всего не переговоришь...

— И то пора... — согласился Элеазар. — Успеем наговориться и завтра... Надеюсь, ты проведешь праздник с нами, рабби? Не нарушай

святого покоя Субботы, друг...

— Мне пора домой, но завтрашний день я проведу с вами... — сказал Иешуа с улыбкой.

— Вот ты часто говоришь против Субботы, равви... — тепло сказала Мириам. — А я люблю ее огни, ее тишину...

— И я люблю... — сказал Иешуа. — Но все же человек господин и Субботы...

— Ну, вот и хорошо... — позевывая, сказала Марфа. — Может, ты ляжешь с нами в доме, рабби? С гор тянет что-то холодом...

— Нет, я привык к этому, Марфа... — отвечал Иешуа. — Я лучше пройду в горницу наверх. Я люблю, проснувшись, посмотреть, как играют звезды...

— Ну, как хочешь. Мириам постелет тебе наверху... Доброй ночи!

— Доброй ночи и вам всем!..

V

Элеазар пошел проведать ослика, своего верного друга и помощника. Марфа прибирала со стола. Иешуа по зыбкой лестничке поднялся на плоскую кровлю дома, в одном углу которой был сделан легкий навес. Это место под навесом и называлось горницей. В богатых домах навес этот делался над всей крышей, а бедняки отгораживали

себе от солнца хоть уголок один. Мириам с постелью поднялась вслед за Иешуа. Она устилала ему постель и вся затаилась. Сердце ее билось. Иешуа, взяв себя в руки, стоял у самого края кровли и смотрел в звездное небо. Но теперь не чувствовал он глубокого мира его, не слышал пения ангелов, славящих величие Божие, мир на земле и благоволение среди людей...

— Смотри, как тянет с гор холодом... — робко, дрожащим голосом проговорила сзади, в темноте, Мириам. — Ты будешь зябнуть...

— Нет, я... я не боюсь холода... — дрогнул голосом Иешуа, не оборачиваясь. — За времена повстанчества я привык ко всему...

Молчание. Ни слова, ни шороха... Только тревожно колотятся в груди сердца...

— Ну... доброй ночи, Иешуа... — прозвенел в темноте дрожащий голосок. — Спи спокойно...

— Мир с тобою, Мириам... — отвечал он, чувствуя, как внутри него ходят огневые волны.

Легкие нерешительные шаги к лесенке... И опять эта тишина, от которой кружится голова... Он обернулся — у лесенки нерешительно стояла тонкая, черная тень. И ее белое в сиянии звезд лицо было обращено к нему. Оба неподвижно смотрели один на другого — долго, долго... И вдруг она неслышно подошла к нему, закинула ему руки на шею и прижалась к нему беззащитно. И было ее

сердце так переполнено, что ничего не могла она вымолвить, как:

— Иешуа... Иешуа мой... Иешуа...

Вся душа его разлилась вдруг в сладких песнях:

— Ты для меня, как нежная лилия полей... — обнимая ее, весь в смятении говорил он ей с бездонной нежностью. — Ты, как звезда в небе утреннем... И имя твое, как сладкую молитву, я повторяю на всех путях моих...

И долго молчали, смятенные, в счастье.

— Иешуа, милый... — вся точно звеня, прижалась она к нему. — Может быть, грех то, что я скажу тебе, но... если бы ты оставил... все это?... И был бы у нас с тобой домик маленький свой и все... Вспомни: ты так же верил в дело zelотов, а теперь сам видишь, что все это было ошибкой, а что, если вдруг и твое теперешнее окажется опять ошибкой и... мы погубим все... и будем потом сожалеть?..

Он тихонько отстранился от нее.

— Мириам, теперь зовет меня Бог... — в тихой торжественности сказал он. — И ненадежен раб, который, взявшись за плуг, оглядывается назад... Прости меня, но... так надо. Да будет воля Его...

Она с усилием оторвалась от него и, давясь колючими рыданиями, шатаясь, пошла вниз. Все

его существо рвалось вслед ей. Ведь только одно слово его и она расцвела бы, как дикая роза вешним утром...

И, сковав себя во имя Его, Всемогущего, он этого слова не сказал... Он бросился, не помня себя, на свое ложе и, из всех сил вцепившись зубами в руку, весь точно закаменел... А сверху тысячью глаз смотрело на это безмолвное, никому неведомое жертвоприношение небо...

Боль постепенно отпускала его, заменяясь глубокой печалью. И, полный безграничной любви к Тому, вокруг алтаря Которого горели теперь светильники звезд, он начал молиться, но — молитва не шла к нему на этот раз, не несла обычного, кроткого мира своего. Месяц серебрил черную, распростертую на кровле фигуру, дышал ночной ветер над спящей землей, рассказывали серебряные сказки звезды одна другой в извечной бездне — безмолвная жертва, горя на жертвеннике незримом и не сгорая, продолжалась...

Где-то в отдалении слышались голоса, медлительные, грубые, сонные... Он слегка приподнял бледное лицо и чутко прислушался: по иерихонской дороге в предрассветной мгле шла небольшая толпа. Он встал и вгляделся. По чуть белеющей дороге за каменным забором, не торопясь, тяжелым шагом проходил к Иерусалиму отряд римских легионеров — темные, суровые,

тяжелые тени... Их шлемы и концы копий чуть поблескивали в сиянии заходящего месяца...

— Да неужели ты сразу поведешь нас до города, Пантерус? — крикнул один из легионеров шагавшему впереди рослому и стройному старшому. — Дай хоть немножко отдохнуть!..

— Ну, разговаривай еще!.. — низким голосом отозвался тот.

— Иди знай!..

И они прошли.

И долго смотрел Иешуа вслед им...

И, когда скрылись они, он снова поднял глаза в посветлевшее уже небо. Он не слышал его взбаламученной душой своей, оно замкнулось и молчало, но, точно желая покорить его, отверзть для души своей, он простер к нему руки и, полный беспредельной, восторженной жажды жертвы, прошептал:

— Тебе! Единому Тебе...

А внизу, в убогой душевной хижинке, на скудном и жестком ложе все плакала Мириам и нежно целовала уже привядшие цветы его...

VI

Ранним утром, на зорьке, Вифания проснулась. Но тихо было на селе: ничто не должно было нарушать святого покоя Субботы. Элеazar,

хотя и есей, ходил в синагогу, чтобы послушать, а для Иешуа она была нужна, как место проповеди.

— Ну, что же, идем? — спросил он своего друга.

— Идем... — отвечал тот. — А ты что-то нехорошо выглядишь сегодня... Или блохи спать не давали?..

— Нет, так... — смутился Иешуа немного. — Со мной это бывает...

Его сердце звало Мириам, но ее не было видно: бледная, с заплаканными глазами, девушка не показывалась. Марфа украдкой наблюдала за сестрой и жалела ее. Она догадывалась о любви ее к Иешуа и ничего не хотела бы так, как выдать ее за него. Элезар тоже чувствовал, что в доме сегодня что-то не так, но молчал...

Иешуа с Элезаром и Марфой направились через пыльную площадь к синагоге. И со всех сторон тянулись уже туда поселяне, «народ земли», как презрительно называли их законники, женщины, подростки и важные законники, которым все уступали дорогу. Особенно общее внимание привлекал к себе молодой законник Савл из далекого Тарса, ученик Гамалиила. Невысокого роста, некрасивый, с выпуклыми глазами, но щеголеватый, он поражал всех какою-то особою уверенностью в себе. Каждым движением, каждым взглядом, каждым словом он показывал, что вот он,

Савл, все превосходно знает и что все могут только подражать ему. Даже учитель его, мягкий рабби Гамалиил, внук знаменитого Гиллеля, и тот невольно поддавался этой уверенности в себе молодого тарсянина... Сюда Савл пришел еще накануне, чтобы принять участие в субботнем богослужении и собеседовании, то есть чтобы наставить, разъяснить, научить: ведь не даром же он знал все!.. Оглядывались и на Иешуа: и он не раз выступал уже тут.

Вифания была небогатым селением и потому и синагога ее была небогата. Это был простой глинобитный дом, единственный покой которого был весь заставлен старыми, облезлыми скамьями. В глубине комнаты, на некотором возвышении стояла священная тэба, кивот, обращенная лицевой стороной к Иерусалиму.

В ней хранились, во-первых, свитки Торы, то есть Закона и других священных книг, называемых сэфарим: творения пророков, Песнь Песней, Руфь, Плач Иеремии, Экклезиаст и книга Эсфири. Перед шкафом слабо колыхалась завеса. Тут же стояла кафедра, с которой говорили законники. Первые ряды мест — они были обращены лицом к собранию — считались почетными. Там помещались законники, богачи и вообще важные лица. С потолка свешивался светильник, который горел день и ночь. Поп был весь усыпан мятой,

приятный аромат которой несколько заглушал всегда тяжелый запах толпы...

Синагога не была храмом — храм был один на всю Иудею, в Иерусалиме. Синагога это был просто дом молитвы, бэт-тэфилах, и место собраний, бэт-гакэнэсэт. Учреждение синагоги иудеи приписывали Эздре, но некоторые законники уверяли, что первая синагога была построена еще в вавилонском плену из камней, которые пленники захватили с собой из родной земли. Иосиф Флавий идет еще дальше и приписывает основание первой синагоги Моисею, а Таргум — пространное толкование Библии, которое читалось в синагогах каждую субботу — говорит даже о синагоге времен патриархов. Евреи вообще любили все приписывать Моисею и патриархам.

Синагог в Палестине в это время была тьма. В одном только Иерусалиме их было около пятисот. На каждой улице их было по несколько. Собирались в синагогах по Субботам и в дни базаров — в понедельник и четверг. Для того чтобы отправлять богослужение, достаточно было образовать общество в десять человек, которые назывались миниан, то есть число. Трое из основателей получали титул начальников синагоги. Они разрешали все споры между членами синагоги, заведовали ее денежными средствами, решали вопрос о прозелитах. Под их начальством

находился хазан, на котором лежал надзор за зданием синагоги. Когда потом при синагогах были основаны школы, то хазан стал исполнять обязанности учителя в тех из них, в которых было менее двадцати пяти учеников. А когда по приговору начальников синагоги кого-нибудь из верующих нужно было высечь, то и эти обязанности исполнял хазан. Затем при всякой синагоге был законник, на обязанности которого было чтение и толкование Закона, что, однако, не мешало всякому желающему встать и прочесть то, что в данный день полагалось, а потом толковать прочитанное по своему разумению. Было еще и несколько «посланцев», нечто вроде секретарей, которые поддерживали письменные сношения между синагогами. И затем был шамаш, нечто вроде псаломщика.

Священник, храмовник, не играл в синагоге никакой роли — все было в руках законников. В жизни народа они, истолкователи Закона, играли огромную роль, ибо Закон царил над всем. Авторитет его стоял так высоко, что некоторые законники утверждали, что сам мир сотворен Богом только ради Закона. Боговдохновенность его не возбуждала никаких сомнений. Смущали одно время последние строки Второзакония, в которых рассказывается о смерти Моисея: как мог великий законодатель сам описать свою смерть? Но, в конце

концов, рабби истолковали это место так, что Господь загодя сам продиктовал Моисею эти строки... Вообще толкования Закона — из них потом составила Мишна — пользовались величайшим авторитетом: это был второй Закон. Потом и Мишну понадобилось истолковать, и таким образом получился Талмуд. В эту эпоху не только не было еще Талмуда, но и Мишна была лишь в зародыше. И в речах законников того времени ясно проступали два течения: чисто юридическое толкование Закона, халака, которого придерживались формалисты вроде Шаммая, и нравственное, поучительное толкование, агада, которое лежало в основе учения Гиллеля и следы которого, несомненно, слышались иногда в проповеди некоторых проповедников, утомленных сухим доктринерством шаммаистов.

Но и юристы, и проповедники очень скоро запутались в невообразимом чертополохе слов. Простого и прямого смысла писаний им было уже недостаточно, и они стали искать в священных текстах и скрытого смысла. И скоро установили три сорта этого скрытого смысла: во-первых, рэмэз, то есть такое толкование, которое придавало часто одному слову, одной букве смысл целой фразы, во-вторых, дэруш, смысл поучительный, практический и в-третьих, сод, смысл мистический, теозофический: о творении, ангелах и проч. До чего

доходили в этом направлении законники показывает следующий пример. В Книге Чисел рассказывается, что Моисей был женат на эфиопке. Это коробило правоверных. Тогда законники слово Кушит, эфиопка, заменили словами Иефат Марээ, то есть прекрасная для глаз: оба слова эти в цифрах дают одно и то же число: 736⁴.

Наиболее выдающиеся книжники основывали свои школы для желающих постичь мудрость Закона с тем, чтобы потом в свою очередь учить людей этой спасающей мудрости. Учителя эти пользовались у учеников совершенно исключительным почетом: законники учили, что учитель для ученика стоит на первом месте, а отец — на втором. Если отец и учитель находятся оба в тюрьме, то ученик должен сперва выкупить учителя, а потом уже отца. На улицах ученики кланялись учителям своим до земли. В

⁴ Опять для установления исторической перспективы добавим, что эти забавы отнюдь не были исключительным свойством еврейства. Так первые христиане тоже отдавали немало времени таким вычислениям. Автор послания Варнавы, размышляя над тем обстоятельством, что у Авраама было 318 слуг, заключал, что патриарх уже как бы предчувствовал крест Христа: число 18 пишется, как 1Н — это имя Христово, а 300 обозначается буквой Т, изображающей крест!

описываемую эпоху законник, софэр, окончательно победил кохэн, священника: он был одновременно и адвокат, и пастор, и врач, и ученый по всем отраслям знания, и прежде всего теолог.

Но одна черта была у законников очень симпатична: за науку свою они не брали ничего. Кормиться от Закона они не смели и существование свое должны были поддерживать торговлей или ремеслами. Так знаменитый Гиллель был дровосеком...

Между различными школами законников шла неугасимая война, причем спорщики в выражениях отнюдь не стесняли себя. И чем ближе была одна школа к другой, тем — как это всегда бывает — ненависть между ними была беспощаднее. Если фарисеи ненавидели садукеев и обратно, то еще яростнее была ненависть между гиллелистами и шаммаистами, хотя и те и другие были фарисеями. Красноречие законников было сухое и тяжелое, образы всегда преувеличены и не было в нем ни остроумия, ни игры: законник был слишком важен, чтобы опуститься до этого. Когда он выступал в синагоге, он никогда не говорил прямо к презренному «народу земли», — он шептал свое поучение на древнем языке на ухо переводчику и тот переводил его вслух собранию на всем понятном арамейском наречии...

Иешуа, Элеазар и Марфа присели на задней

скамье. Хазан как раз в это время громко вызвал тех семерых членов синагоги, которые должны были вести богослужение, и шелкаш тсибур, то есть того, кто должен был в этот день читать молитву. Леви бен Моше, ткач, пожилой еврей с худощавым лицом и голубым бельмом на левом глазу, стал перед священным кивотом и обратился лицом к иерусалимскому храму. Галдевшая синагога разом смолкла. Все встали и в сосредоточенном молчании опустили головы.

— Слушай, Израиль: Господь Бог твой един есть... — набожно начал Леви. — Люби Господа Бога твоего всею душою твоею, всем разумением твоим, всеми силами твоими...

И, когда кончил он шэму, вся синагога сказала:

— Аминь!

Затем, как всегда, последовало чтение шэмонэ-эзрэ, состоящей из восемнадцати благословений, и снова собрание дружно ответило:

— Аминь!

Хазан вынул из кивота свиток святой Торы и набожно передал его Леви. Тот прочел сперва краткую молитву благословения, а затем все семеро по очереди с проникновением стали читать тот отрывок Закона, который полагался на этот день. Хазан стоял все время сзади чтеца и зорко следил, чтобы тот не сделал какой ошибки. Так как

большинство собрания священного древнего языка уже не понимало, то текст тотчас же переводился на арамейское наречие, а затем Леви, поставив перед собой указательный палец и глядя на него своим единственным глазом, начал толкование прочитанного или мидраш. Он мог говорить без конца, нанизывая фразу на фразу и слова на слова, и удивлять всех своей ученостью. Но сегодня все ожидали выступления молодого Савла и по нетерпеливому покашливанию слушателей, по потушенным разговорам их Леви понял, что надо уступить место своему противнику. И он и Савл были фарисеями, но Леви был шаммаистом, а Савл — гиллелистом.

И Савл уверенно поднялся на кафедру, уверенно оправил широкие рукава с бахромой — она была не слишком длинна, как у законников, бьющих на благочестие, и не слишком коротка, как у вольнодумцев, но как раз в меру, как у людей приличных — и бойко и уверенно заговорил. Сперва Иешуа насторожился было, но это длилось недолго: он сразу определил Савла. Это был один из тех ограниченных и сухих законников, которых Иешуа особенно не любил.

Все смотрели на бойкого молодого человека с полным уважением: хорошо, учено говорит — ничего не поймешь... Но в то же время стало определенно скучно, и среди собрания уже

образовались отдельные группы, которые горячим шепотом спорили между собой, уточняя, утончая мысль молодого бойкого рабби так, что мысль точно испарялась, не оставляя после себя ничего... Хазан не раз останавливал этот нарастающий шум, но ему подчинялись только на короткое время, а затем снова начинался галдеж. И было уже жарко, и хотелось есть, и внимание все более и более рассеивалось. Леви презрительно и зло смотрел единственным глазом своим на иерусалимского краснобая и вздохнул с подчеркнутым облегчением, когда Савл кончил свою речь и мафтир — читающий из пророков — встал и стал читать заключительную часть богослужения, несколько стихов из пророка, перевел их старательно на арамейское наречие, и начальник синагоги, крупный, носастый и рыжий, прочел последнюю молитву.

Синагога разом зашумела, как река, прорвавшая, наконец, плотину. Все высыпало на залитую солнцем улицу, но только очень немногие сразу же направились к дому. Большинство, пристроившись в тени деревьев или стен синагоги, а то и прямо на солнце, клавшем резкие, черные тени по сухой земле, сразу схватилось и закипело спорами.

— Да ты дурень, ты сумасшедший! — иступленно кричал на кого-то одноглазый Леви,

брызгая слюнями; — Ты ха-олам-аса ⁵ с ха-олам-аба ⁶ еще путем не разбираешь! А берешься, пустая голова, рассуждать о таких вещах!

— Ты сам нашему ослу двоюродный брат! — с яростью полез на него сзади какой-то старик с изъеденными зубами и жалкой козлиной бороденкой. — Что ты знаешь, то я давным-давно забыл!

Молодой Савл презрительно улыбался всем своим самоуверенным лицом. Он был решительно недоволен, что Гамалиил послал его в это собрание неучей, с которыми спорить все равно, что воду носить... Иешуа с Элеазаром — Марфа, беспокоясь о сестре, ушла домой — скучливо отвернулись и подошли к другой кучке, в середине которой маленький, худенький, с огромными сердитыми глазами и выкатившимся кадыком старик, напрягая из всех сил свой слабый голос, кричал:

— Закон!.. Один царь нанял нескольких работников. Среди работников был один, который очень быстро справился со своей работой. Что же сделал тогда царь? Он подозвал его к себе и стал

⁵ Этот мир.

⁶ Мир грядущий.

прохаживаться с ним туда и сюда. Когда наступил вечер, все работники пришли к царю, чтобы получить плату свою, и царь приказал уплатить всем что полагалось одинаково. И работники стали роптать: мы трудились на тебя весь день, а этот все разгуливал с тобой, и ты даешь ему одинаково с нами! И царь сказал им: он сделал за два часа больше, чем вы за целый день. Так и рабби Анания в двадцать восемь лет изучил Закон больше, чем другие в сто лет... И все величают его. А спросите его: что он из этого Закона сделал? Ничего!..

Леви стоял боком к законнику, и на сухом лице его была презрительная усмешка: маленький крикун был гиллелистом. Иешуа увидал вдруг Иуду Кериота, который стоял в толпе, оборванный и жалкий, в дырявой чалме. Он слушал спорщиков с таким жадным вниманием, как будто каждое слово их несло ему вот сейчас, сию минуту, спасение...

— Шелом!.. — подходя к нему, сказал Иешуа.

— А-а, рабби!.. — слегка улыбнулся тот. — Шелом!.. И сразу его улыбка потухла, и худое лицо с беспорядочной бородой и большим, падающим вниз носом приняло свое обычное беспомощно-беспокойное и точно ожидающее выражение.

— А ты поговорил бы, рабби... — сказал он. — Послушаешь тебя, сердце-то словно и отойдет немножко...

— Да, да... — поддержал его Элеазар. — Народ любит слушать твои речи...

— Нет, сегодня я что-то ослабел духом... — своей застенчивой улыбкой улыбнулся Иешуа. — Да народ и расходится уже. Жарко...

В самом деле, пестрые кучки вифанцев, крича и размахивая руками напоследок с особым ожесточением, расходились по домам. В большой толпе, остановившейся под старыми пальмами на дороге, слышался веселый смех и восклицания: молодой галилеянин с тонкими, красными, вздернутыми в углах губами, маленьким носом и веселыми глазами потешал чем-то вифанцев. Это был известный всем весельчак Исаак бен Леви, добряк и любимец всех, в особенности детей. Он обладал необычайным даром делать себя похожим на всех и на все, даже на животных, даже на неодушевленные предметы. Неуловимой игрой своего тонкого, подвижного лица и всей своей ловкой фигурой он изображал то тяжелого и тупого римского легионера, то собаку, блаженно щурясь, греющуюся на солнце, то фарисея, отягченного Законом, то фарисея с окровавленным лбом, который, чтобы не видеть женщин, ходит с закрытыми глазами и то и дело натывается на стены, а то петуха на заборе... И все смеялись...

Иешуа знал Исаака — он не раз работал с ним в одной артели — и любил его безобидное

озорство, но теперь ему было не до игры. Он решил сегодня же вечером, как только окончится Суббота, — он не хотел огорчать Элезара — уйти прямо к себе в Галилею, чтобы там, вдали от Мириам, вдали от всего, в тишине успокоиться, привести все в последнюю ясность...

— Ну, идем, Иешуа... — сказал Элезар. —
Время...

— Идем, идем...

— Пойдем и ты, Иуда... Потрапезуешь с нами...

— Нет, спасибо: меня дети ждут...

Иешуа с Элезаром пошли жаркой, пахнувшей пылью площадью к дому Элезара. Из-за каменного забора его, как смешные, любопытные головы, выглядывали сохнувшие горшки... Сзади, под старыми пальмами, послышался взрыв хохота: то Исаак прошел по дороге аистом, который, кося, выглядывает в болоте лягушек, ловко хватает их клювом и с удовольствием глотает... Дети визжали от восторга...

VII

Всякий раз, как Иешуа возвращался в свою зеленую Галилею, он испытывал чувство облегчения, почти радости. Сзади оставалась Иудея с ее опаленными солнцем холмами, с ее тоже точно

опаленной страстями жизнью, а вокруг раскидывались милые с детства, покрытые прекрасными лесами холмы, деревни с их простым, трудовым населением, пышными садами, виноградниками, звенящими потоками, птицами и цветами. Раем и здесь жизнь не была, несмотря на необычайное богатство природы и трудолюбие населения. Поборами народ доводили до края нищеты: брали дань римляне, огромные деньги собирал тетрарх Ирод, требовали наживы храмовники, драли шкуру с народа землевладельцы. Но уже то одно, что не было тут надутых садукеев, кипящих вечным гневом фарисеев, тяжелых, закованных в железо римлян, было великим облегчением. В Галилее жило немало всяких язычников — ее так и звали Галиль-хагойим: круг или страна народов. И это создавало атмосферу относительной терпимости и свободы... Здесь охотно слушали всякого и тупой софэр, знающий наизусть всю Тору, большого авторитета здесь не имел. И любили галилеяне попеть, поссориться, пошуметь, были набожны и чрезвычайно суеверны и презрительно смотрело на них иерусалимское духовенство, когда они являлись туда на большие праздники. «Дурак галилейский», это им приходилось там слышать то и дело, и самое произношение их вызывало бесконечные насмешки.

Назарет в то время был тихим городком с тремя или четырьмя тысячами жителей. С его убогими домиками из глины, садами, мирными ригами и точилами, вырубленными в скале, с огромными гнездами аистов по вершинам вековых деревьев он походил скорее на деревню. Его жители не отказывали себе ни в чаше вина, ни в шутке веселой, ни в песне, и потому суровые законники смотрели на легкомысленный народ с презрением: «Может ли выйти что путное из Назарета?» — презрительно поджимая губы, говорили они.

У старого фонтана, под вековыми платанами, как всегда, толпились с водоносами женщины. Лица их были закрыты, как того требовало приличие, но в черных, прекрасных глазах было много света, много тепла, а иногда и призыва. Иешуа ласково поздоровался с ними и направился к своему дому, который сонно жмурился на заходящее солнышко среди смоковниц, груш и вьющегося винограда с уже наливающимися гроздьями. Где-то в чаще нежно ворковали горлинки...

В прохладном сумраке бедного домика не было ничего, кроме самого необходимого: у входа, конечно, прикреплена была мезуза с отрывками из Закона, а внутри, в углу, были сложены циновки и коврики, на которых спали; над ними, на полке,

виднелось несколько горшков и неизбежный четверик, который служил одновременно и мерою для сыпучих тел, и подставкой для светильника по вечерам. В другом углу дремали ручные жернова, ровный шум которых так часто наполняет тишину деревни, а за жерновами, у стены, стояли мотыги, лопаты и метла. Два старых меха, один побольше, с вином, другой поменьше, с маслом, завершали обстановку. Трубы не было: во время холодов все грелись у очага посреди комнаты. По стенам местами проступала селитра — это называлось «проказой» — и в застоявшемся воздухе стоял тяжелый запах: в большие холода Мириам, хозяйка, брала, как и все крестьяне, молодых ягнят и козлят в дом на ночевку, и они оставляли по себе долгую память.

За стеной, в тени старых деревьев, слышалось сочное шурканье рубанка — то плотничал кто-нибудь из братьев. Других никого дома, по-видимому, не было: все были на работах. Иешуа прежде всего, чтобы освежиться, приступил к необходимым омовениям...

Глава семьи, Иосиф, давно уже умер. Матери, Мириам, было уже за сорок. Все сестры были замужем, а братья, как и сам Иешуа, постоянно бродили по стране в поисках работы: они все занимались строительным делом. Мать давно настаивала, чтобы Иешуа, старший, женился, дал

бы ей, наконец, помощницу, но он уклонялся и подолгу пропадал из дому... И хотя самые крайние пункты его блужданий лежали от Назарета всего в четырех-пяти днях неторопливого пути, тот пышный языческий мир казался всем чем-то очень далеким и очень чужим...

— Шелом!..

Брат Иаков, работавший за верстаком, поднял свое туповатое лицо с рыжей, сухой бородкой.

— Шелом! — отвечал он угрюмо, без улыбки: ему всегда казалось, что Иешуа злоупотребляет своим положением старшего и недостаточно усердно работает.

Не успели они обменяться и несколькими словами, как подошла от риги его мать, исхудавшая, увядшая женщина; от бывшей красоты ее остались только эти большие, черные глаза, в которых таилась печаль. Изредка, смутно, как сон, вспоминалось ей жаркое лето и сухой, шелковистый шелест кукурузы вокруг, и зной его ласки... Было это когда или только во сне видела она все это?

Увидав сына, она бледно улыбнулась, спросила его о здоровье, о его делах, о том, что он думает предпринять теперь. И все трое чувствовали, что им, в сущности, говорить было не о чем: Иешуа был отрезанным ломтем. Он жил в каком-то своем мире, который веет семейным

казался не только недоступным, но и враждебным. «Чем чужие-то крыши крыть, ты смотри лучше, не течет ли своя...» — так высказал раз угрюмый Иаков свое отношение к общественным заботам брата...

Соседи, проходя мимо, весело здоровались через каменный, низкий забор с Иешуа, останавливались, чтобы перекинуться с ним несколькими словами, но и они смотрели на него скорее как на отбившуюся от назаретского стада овцу. И, когда выступал он иногда в их синагоге, они слушали его одним ухом: занимался бы лучше своим делом! А то учить всех хочет... Но о нем уже шла молва и поэтому они звали его «рабби» — иногда в насмешку, а иногда и всерьез.

После скромного и молчаливого ужина — во дворе на глазах у всех, как всегда, — Иешуа, предвкушая сладкий сон после дальнего пути, поднялся на кровлю. Тянул, как всегда в Галилее, легкий, душистый бриз. Искристо теплились звезды в вышине. В горах вдаль голосили шакалы. Летучие мыши, крутясь над плоскими кровлями домов и над темными садами, нежно попискивали, исчезали и опять налетали и крутились. Было тихо, мирно и хорошо...

Но — сон не шел. И тосковало сердце по Мириам, и вспоминался навсегда покинутый тихий Энгадди, и бродили в душе постоянные думы его,

обещавшие, как ему казалось, богатую жатву. Вспомнились дни его детства в этом бедном домике, такие простые, милые и далекие, далекие... Как все тогда казалось ясно и легко!

Восемь дней спустя после рождения он был, как и все мальчуганы, обрезан и тем присоединен раз навсегда к избранному народу Адонай, к народу, который сам себе казался предназначенным к мировому господству: чем горше были его бедствия, тем горячее мечты и надежды на уже близкую необыкновенную славу и мощь...

И едва стал он лепетать первые слова, как кроткий, благочестивый Иосиф, которого он до самого последнего времени считал своим отцом, стал учить его первой молитве. Потом, вместе с другими чумазыми и оборванными ребятишками Назарета, стал он бегать к хазану учиться. Ребята усаживались на глиняном полу, а хазан строго вооружался розгой. И, глядя в текст Закона, не зная ни единой буквы, ребятки все враз повторяли священные слова, и качались в такт... И так постепенно подвигались вперед, настолько, что к двенадцати годам Иешуа мог уже читать без ошибки «Слушай, Израиль...»

Законники твердили: «Да погибнет храм — только бы дети посещали школы!» или «дыхание детей, посещающих школу, является столпом, на котором стоит все общество», но все это было

больше цветами красноречия, а в жизни дальше изучения нескольких молитв да заповедей Закона дело не шло и идти не могло, потому что и учителя сами знали немногим более. Настоящей школой Иешуа, как и всякого одаренного и вдумчивого человека, была жизнь, и он усердно учился в этой школе и в тихом, зеленом Назарете, и потом, когда впервые он пошел двенадцати лет в Иерусалим на богомолье, и когда в синагоге или у городских ворот слушал он горячие споры своих сограждан, и старался понять мудреные речи софэрим, законников, и трепетал душой над свитками Исаии, который зачаровывал его своими золотыми видениями. Под руководством старого Иосифа он изучал ремесло плотника, ибо знал Иосиф, что «тот, кто не обучает своего ребенка ремеслу, обучает его разбою»... А потом потянуло его к правд», к той жизни, о которой так волнующе сладко говорили пророки, и он тайно ушел в ряды борцов за счастье своего народа, таившихся то в болотистых и диких окрестностях Меромского озера, то в пустынных горах Галаадских, и оттуда совершавших свои смелые нападения на поработителей народа... Но, в конце концов, понял он, что, если и есть тут правда, то не вся...

Он заснул, когда звонко прокричали в ночной тишине уже третьи петухи... Но чуть только заалелся за горами восток, как, полный бодрой

готовности к жизни, Иешуа был уже на ногах. И сразу он влек в хомут той тихой, трудовой жизни, которою он жил тут в молодые годы, которою жили вокруг него галилеяне.

Помолившись, он спустился вниз. Мать выгоняла ослика и четырех коз навстречу пастуху. Иешуа подобрал навоз, накопившийся под навесом, нарубил для матери помельче сухих сучков для очага, а потом коротко обсудил с братом Иаковом предстоящие работы и решили: Иешуа будет готовить заказанную для синагоги лестницу, а Иаков пойдет принять заказ на постройку риги у одного из соседей... И Иешуа, засучив рукава и повязав волосы шнурком, чтобы не мешали при работе, с удовольствием взялся за пилу...

И потекли один за другим дни простого, неторопливого труда и ночи созерцания, ночи порывов, ночи борьбы. Он был очень одинок в своих думах — только его двоюродные братья по матери, сыновья Клеопы, как будто прислушивались к его словам. Но они жили в Магдале, во-первых, а во-вторых, их как будто больше всего увлекал его протест против царящей в мире неправды, может быть, даже чувство мщенья, чем мечты о светлой и братской жизни. Дома он был один со своими думами. Твердая решимость выступить со словом спасения часто сменялась сомнениями. Последней ясности не было. Голос

искусителя — как говорил он — не умолкал. Если они не послушались пророков, — говорил тайный голос — почему же ты уверен, что они пойдут за тобой? Значит, надо сказать им все еще лучше, еще убедительнее, — отвечал он — так, чтобы слово спасения было понято всеми, а поймут все и послушают все. Никакая жертва не страшна для этого святого дела!.. Вспомнился Иоханан, запертый теперь в подземельях Махеронта. И это не страшно. Пока Иоханан один, с ним можно обходиться так, но если закваска поднимет все тесто, то враги будут бессильны, и зацветет райскими цветами вся жизнь.

Разгоралась в нем заря и другой мысли, которая иногда пугала его своей необычностью. И Моисей, и пророки, и законники все, и zelоты вроде Иуды Галонита, все бьются и погибают за иудейство. Но не все ли люди одинаковы? Разноверие? А разве он верит так, как иерусалимские книжники? И разве они сами всегда так верили, как теперь? И разве все их бесконечные споры и свары теперь не доказывают, что одной правды, одной веры у них, в сущности, и нет. В нем неистребимо жило благоволение к человеку вообще, ко всем людям, и если звать на божественный пир, думал он, то только всех!

Да, опрокинуть все эти злые перегородки, разделяющие ныне людей, освободить от пут земли

не только иудея, но и всякого человека, кто бы он ни был, ибо всякий сын человеческий есть в то же время и сын Божий, все эти различные религии их слить в одну религию, религию чистого и любящего сердца, поставить над людьми-братьями единым властелином Бога, любящего Отца — вот его дело, вот на что призывает его Господь, голос Которого так властно звучит для него в тиши звездных ночей... И для нового вина этого он искал новых мехов, ибо в старые мехи нового вина не вливают...

И, блаженно-пьяный этим новым вином, он чувствовал, как разгораются в душе его святые огни, как звучат в ней трубы ангелов, призывающие его на подвиг. Но как, где начать его? Кто послушает его, ничего не значащего галилеянина? И снова он склонялся над свитком старого Исаии:

«...Только один Господь возвеличен будет в тот день, ибо идет день Господа на все высокомерное, и гордое, и надменное, которое будет унижено, и на все кедры Ливанские, высокие и превозносящиеся, и на все дубы Вассанские, и на все высокие горы, и на все возвышенные холмы, и на всякую высокую башню, и на всякую укрепленную стену, и на все корабли фарсийские... Только Господь один будет велик в тот день!..»

Не может быть, чтобы все это было написано зря!..

«...И дух Господа почиет на нем, дух

премудрости и разума, дух совета и крепости, дух знания и страха Божия. И благословение его в страхе Божиим, и будет судить не по взгляду глаз своих, и будет обличать не по слуху ушей своих, но будет судить бедных по правде и будет решать дела смиренных по справедливости, и поразит землю жезлом уст своих, и умертвит нечестивого духом уст своих. И правда будет поясом на чреслах его и верность — на бедрах его. И волк будет жить вместе с агнцем, и леопард будет лежать вместе с козленком, и телец, и лев, и вол будут вместе, и малое дитя поведет их. И корова будет пастись с медведицею, и детеныши их будут лежать вместе, и лев будет есть солому, как вол. И грудное дитя будет играть над норой аспида, и отнятое от груди дитя положит свою руку на гнездо василиска. Не будут делать ни зла, ни вреда по всей святой горе Моей, потому что земля будет так наполнена знанием Господа, как морское дно наполняют воды...»

Чаще, чем прежде, ему стали приходиться на память те места Писания, в которых идет речь о страданиях и смерти глашатаев истины, особенно же один отрывок из Исаии. В таинственных изречениях, проникнутых глубокой печалью, но и в то же время предвещающих конечное торжество, пророк говорит в этом отрывке о «муже скорбен» — безвестном, презираемом и гонимом, но

покупающем ценою безропотно перенесенных страданий великое право основать царство истины и справедливости. Это — «Раб Вечного», безропотно идущий на заклатие за то благо, которое он несет людям...

— А ты завтра пойдешь на свадьбу Симона? — сонно спросила из темного угла мать. — Очень они тебя звали...

— Пойду... — отвечал Иешуа, отрываясь от свитка. — Я давно не видал их...

Симон был родным братом веселого Исаака. Вспомнив Исаака, Иешуа улыбнулся и снова в тишине ночи припал истомившимися устами к невидимой чаше с вином новым...

VIII

Маленькая, тихая Кана, спрятавшаяся среди зеленых холмов в двух часах ходьбы от Назарета, вся вдруг зазвенела весельем: из дома Ревекки, невесты Симона, вышло, наконец, свадебное шествие. Разодетая, надушенная, с распущенными черными волнистыми волосами и с венком на голове, хорошенькая Ревекка, скромно опустив под покрывалом свои черные, горячие глаза, степенно выступала рядом со своим женихом, тоже прифрантившимся, надушенным и в венке. Ближайшие родственники и приятели несли над их

головами пестро расшитый балдахин, а другие махали над головами их ветвями мирта. Пылали факелы, звучали веселые песни, гудели бубны — все пело, все плясало, пьяное радостью и огнями. Со всех сторон к свадьбе летели ребята и их оделяли гостинцами: пусть возрадуются и они...

И над веселой Каной растянулся в вышине пышный балдахин звездного неба...

Иешуа с матерью шли за новобрачными. В его сердце был всегда готов для людей большой запас тепла и ласки, и ему были милы все эти веселые, смеющиеся лица... В очертаниях хорошенькой головки Ревекки было что-то, что напоминало ему Мириам, ему было немножко жаль себя и не мог он не умиляться над своей тайной для всех жертвой, которая окрыляла его... И свадебное шествие это, все в огнях, казалось ему отходом в какую-то новую жизнь, которая, смутная, но прекрасная, стояла вот тут где-то, у порога...

Свадебное шествие подошло к дому жениха. Вокруг дома, ожидая, теснилась пестрая, шумная, веселая толпа, вся золотисто-красно-черная в мятущемся пламени смолистых факелов. И, когда подошли ближе новобрачные, со всех сторон полетели — так требовало приличие — восклицания восхищения:

— Ах, какая миленькая эта Ревекка!.. Ну и красавица!.. А Симон-то, Симон-то — орел!

И сам Иосия-бен-Шеттах, веселый толстяк, торговец, первый богачей на всю округу и почетный гость на свадьбе, погладив с улыбкой свою седую бороду и укрепив чалму, под звуки флейт, труб и кимвалов пустился перед молодыми в пляс. Этим он оказывал новобрачным особый почет. И все веселыми кликами одобрили запыхавшегося, потного толстяка.

Мириам, мать Иешуа, и другие почтенные женщины приняли Ревекку и распущенные волосы ее заплели и убрали под плат: с этого мгновения уже никто и никогда не мог видеть ее с непокрытой головой...

Ночь была жаркая. Поэтому пир был устроен во дворе. Новобрачных посадили рядом под балдахином, и отец невесты — жених был сиротой — прочитал перед ними молитву благословения. Этой молитвой и ограничивалась религиозная сторона брака. Иешуа, давний приятель жениха, был избран начальником пира — этим Иосия-бен-Шеттах был немножко обижен — и среди веселых кликов, в жарком трепетании факелов, среди сверкающих каруселей светляков и темных деревьев зашумела застолица...

Девушка пользовалась у евреев сравнительно с другими восточными народами большой свободой. Рабби Симеон, сын Гамалиила, говаривал: «Нет другого такого праздника во

Израиле, как тот, который празднуется 15 числа месяца Аб и на Киппур. В эти два дня девушки иерусалимские, все в белом, в свежевывмытых платьях, — девушки побогаче на время дают их бедным подругам своим, чтобы тем не было стыдно — идут плясать в виноградники... О чем говорят там красавицы? Юноша, смотри внимательно и старайся выбирать разумно. Не давай красоте пленять себя — смотри больше, какова семья у твоей избранницы, ибо миловидность и красота обманчивы и преходящи, но восхвалят женщину, которая боится Бога...» Можно сомневаться, что юноши иудейские слушали этих советов — черноглазые колдуньи с пьяными от пляски в виноградниках улыбками сильнее всех рабби на свете. Но так или иначе они делали свой выбор и начиналось сватовство. Жениху должно было быть не менее восемнадцати лет, невесте — не менее двенадцати. Сватовство могло быть всегда оборвано без всякого ущерба для обеих сторон. Если оно приводило к положительному результату, то сговаривались о могоаре — о той сумме, которую должен уплатить жених отцу невесты, о подарках, о дне обручения и подписывали кэтубу, то есть брачный договор. В один прекрасный день обе семьи нареченных сходились, и жених в присутствии посторонних свидетелей передавал невесте, а если она была еще несовершеннолетняя,

то ее отцу золотое кольцо или какой-нибудь другой ценный предмет и говорил ей: «Вот этим кольцом ты обручаешься мне по Закону Моисея и Израиля...» Обручение было уже нерушимо и только смерть могла разлучить обрученных. Если же девушка нарушала данный обет, ее по Закону побивали камнями, как прелюбодейку...

Обрученные ждали свадьбы иногда целый год, «чтобы невеста имела время приготовить свое приданое». Жених освобождался от военной службы и, начиная со дня обручения и спустя год после свадьбы, молодые люди освобождались от обязанности присутствовать на похоронах и ходить на кладбище: «Пусть только радость одна наполняет их сердца...»

...Пир шумел — среди огней и кликов, и раскатов смеха, и веселой музыки...

— Слушай... — тихонько шепнула Иешуа мать. — А у них с вином плохо... Пир только в самом начале, а больше половины уже выпито... Может, ты похлопотал бы как-нибудь?

— Хорошо... — так же тихо отвечал Иешуа. Он улыбкой подозвал к себе своего приятеля, веселого Исаака, и, взяв его под руку, отошел с ним в сторонку.

— Слушай, мне говорят, что с вином у вас слабовато... — тихо сказал Иешуа. — Так вот, возьми эти деньги... Ну, ну, ну... — улыбнулся он,

заметив, что тот хочет возражать. — Считаться будем потом, а пока слушай меня... Не захочешь же ты поставить своих в неловкое положение перед гостями... Так вот: возьми эти деньги, сейчас же купи вина, какого получше, и налей его незаметно вон в те водоносы, что ли... А там видно будет... Понял?

Исаак теплыми глазами посмотрел на Иешуа и исчез. Иешуа снова сел на почетное место начальника пира. Пили опять и опять за здоровье новобрачных и за всех сродников их, и за председателя пира, и за Иосию-бен-Шеттах, и за других почетных гостей. И Иешуа, шутя и смеясь, поддерживал веселое настроение пирующих, и в то же время внимательно следил за тем, как среди родственников жениха нарастало беспокойство. И он осторожно улыбнулся издали Исааку, когда тот незаметно поставил на свои места большие глиняные водоносы и, вытирая пот, благодарно посмотрел вверх пирующих гостей на своего друга.

— Курицу, курицу, Исаак!.. — кричала молодежь. — Наседку!..

И Исаак — он никогда не заставлял просить себя долго — распустил перья и, изображая на лице своем выражение беспокойства, глупой гордости и озабоченности, с квохтаньем пошел среди пирующих, озираясь то направо, то налево за будто

бы бегущими за ним цыплятами... Все грохотало...

— Да что же ты?.. — тревожно спросила мать Иешуа.

— Не беспокойся... Все будет сделано... — тихо отвечал он и, смеясь, крикнул Исааку: — Все это очень хорошо, друг мой, но смотри: в чашах у гостей засуха!..

Среди родственников жениха пробежало беспокойство настолько явно, что встревожился даже под своим сияющим балдахином жених.

— Ну, ну, жаться уж нечего! — весело продолжал Иешуа. — Ведь брата женят ни каждый день... Ну-ка, давай попробуем того, что в водоносах!..

Недоумевая, бросились к водоносам. Около них уже стоял толстый и добродушный Иосия-бен-Шеттах и с недоверием на лице пробовал еще и еще вино.

— Нет, это не порядки!.. — своим сиплым голосом весело закричал толстяк к Иешуа. — Какой же ты начальник пира?! У добрых людей сперва подают хорошее вино, а потом, когда гости подопьют, тогда уж и похуже, а у тебя наоборот... Это вино, брат, с Ливана, а то с гор Моавитских... Сменить начальника пира!.. Мы не довольны!

— Сменить! Сменить!.. — кричали со всех сторон веселые гости.

И со всех сторон на Иешуа сияли розовые от

огня улыбки. А родственники через головы пирующих смотрели на него восторженно испуганными глазами: не сами ли они принесли в этих водоносах свежей воды перед пиром?

— Сменить, сменить!.. Никуда не годится!.. — грохотало вокруг. — Ха-ха-ха...

У Иешуа было точно две пары глаз: эти, темные, детски-застенчивые, проникновенно смотрели в пестрые водовороты жизни, а другие, незримые, были всегда обращены в себя, в душу, наблюдая, как тепло и радостно волнуется она при виде пестрых картин жизни. Так было и теперь: перед его телесными глазами горел огнями и кипел весельем пир, а в душе — величайшее чудо жизни — росла и ширилась светлая, волнующая, окрыляющая мысль: когда человек оказывает тебе добро, ты его любишь и ты счастлив, но когда добро оказываешь ему ты, ты любишь его вдвое и ты счастлив вдвое!.. Тяжелым трудом скопил он немного денег на черный день для себя и семьи, и вот половина их сразу ушла, так, «зря», и он не только нисколько не жалеет об этом, но испытывает светлую, умиляющую радость. Как просты, в сущности, все загадки жизни!.. Маленькое усилие, и радость затопляет тебя... Так в чем же дело? Почему же не ликует земля?.. Ведь чудо преображения ее — вот!

И на глазах его проступили слезы...

И вдруг вся застольица дружно загрохотала: Исаак изображал осла и его погонщика вместе. Погонщик в бешенстве осыпал ударами палки хребет жестоковыйного животного, а потом, в то же мгновение, появлялся осел, который, упершись всеми четырьмя ногами в землю и вздрагивая от каждого удара, все-таки никак, ни за что не хотел тронуться с места...

— Нет, нет, вы на рожу-то его посмотрите!.. — кричали со всех сторон. — Ну, чистый вот старый осел нашего мельника! Ха-ха-ха...

И черно-бархатный, весь вышитый алмазами балдахин ночи торжественно сиял над веселой, в огнях, землей, и не умолкало веселье, хохот, музыка до тех пор, пока смущенную, не смеющую и глаз поднять невесту не повели, наконец, в «брачный чертог». И дружки жениха среди уже догорающих огней проводили его к ней, и оставили на пороге. Тот молча и долго жал руку своего друга, Иешуа, и горячие глаза его говорили без слов, что чудо с вином он понял и — не забудет...

А он, Иешуа, взволнованный до дна души, вдруг решил, наконец, идти в мир с «доброй вестью», которая неопалимой купиной разгоралась в его сердце все более и более...

Наступала осень... Был уже недалеко и праздник Кущей, который так торжественно справлялся по всей Палестине, а в особенности в Иерусалиме, куда к этому дню стекались тысячи паломников. Иешуа, томимый жаждой сообщить людям ту благую весть освобождения, которая все более и более разгоралась в его душе, не мог уже спокойно, как прежде, работать в своем тихом Назарете — он чувствовал, что для сеятеля пришло время Сеять. В Назарете серьезно его не слушали: он вырос на глазах у всех, какой же он пророк, какой учитель?! И он чувствовал, что пока он совсем один, и это лишало его смелости. Правда, был Иоханан — он все еще томился в подземельях Махеронта — с его учениками, но, хотя они и боролись как будто с одним и тем же врагом, но втайне у Иешуа не лежало к ним сердце: ему хотелось радости для людей, ему хотелось, чтобы вся жизнь превратилась в светлый и веселый брачный пир, а тем точно мучить людей хотелось, им точно самое солнце противно было...

Он решил пройти в Иерусалим на праздник Кущей, а перед этим побывать на озере, где он часто бывал на работах и где у него было много приятелей... Ум хорошо, а два лучше — в беседе дело всегда становится яснее... И, простившись с матерью и близкими, солнечным, но не жарким уже

утром он пустился в дорогу. Сады и виноградники уже опустели, и с каждым днем все ярче проступала по холмам огневая ржавь осени. Птиц было уже не слышно, только табунки ласточек готовились к отлету... Последние кузнечики нарушали иногда робкой и коротенькой песенкой торжественную тишину осеннего дня.

К полудню, не торопясь, он был уже в Капернауме. Хотя Капернаум и лежал с одной стороны на берегу озера, а с другой на большой дороге из Сирии в Египет и из Сирии к Средиземному морю, но, в конце концов, это была только большая, хотя и бойкая, торговая деревня: самое название его происходило от слова кафар, что значит деревня. Тут стоял небольшой римский гарнизон и была таможня. Но население было, главным образом, рыбацкое. Рыбачья жизнь оставляла много досуга, и рыбаки, коротая свое солнечное безделье, любили поговорить и помечтать.

Тут, среди рыбаков, у Иешуа издавна были друзья — два брата, Симон и Андрей, сыновья недавно в бурю утонувшего в озере старого Ионы, да два брата Зеведеевых, Иоханан и Иаков. Близок всем им был и добряк Левий, пожилой мытарь, хорошо владевший каламом.

— А-а, рабби! — весело приветствовал его Симон, чинивший у себя во дворе, на солнышке,

пахучие, серые сети. — Вот как хорошо, что ты пришел... Шелом!

Симону было за тридцать. Это был коренастый, широкий, загорелый крепыш с преждевременной лысиной во всю голову. От него всегда крепко пахло потом, рыбой и водой. Был он человеком великой душевной простоты и горячий чрезвычайно. Он легко со всеми соглашался и легко от всего отказывался, и часто он исполнялся великой решимостью, но очень скоро остывал и менял все. И голубые, детские глаза его сияли всегда простодушной лаской.

— Симон? — говорили о нем поселяне. — У-у, это не человек, а чистый камень!..

И все смеялись. И эта ласково-насмешливая кличка Камня, Кифа, так и осталась за ним. Иешуа любил его за доброе сердце, за прямоту и за его героические решения, которые к утру исчезали, как роса.

У Симона была жена, куча ребятишек и теща. Жил он небогато, несмотря на то, что ему в трудах помогал живший вместе с ним вдовый брат Андрей. Андрей был с хитринкой и пожестче душой. Иешуа часто гостил у них.

— Ну, Рувим, Мойше, все!.. — скомандовал Симон. — Тащите гостю воды помыться, а другие беги к Зеведеевым, скажи, что пришел-де гость дорогой, рабби Иешуа, так чтобы приходили... Ну,

живо!

Черноголовая, полуголая детвора с усердием взялась помогать гостю умыться, а двое, перескочив через низкий забор, засверкали пятками к братьям Зеведеевым, жившим у самого озера. У них была с Иониными одна артель и общие тони...

— Ну, а Сусанна как? Здорова? — спросил Иешуа, умываясь.

— Сусанна ничего, а вот теща что-то все хворает... — отвечал Симон. — Такая привязалась лихорадка, что прямо беда...

— Это нехорошо... — кончив умывание и лаская детские головки, проговорил Иешуа. — Что же, лежит?

— Лежит... Да что вы вязнете, пострелята?! — с притворной строгостью накинулся он на детей. — Ишь, привязались!..

— Что ты, Симон? — остановил его Иешуа. — Нисколько они не мешают... Ничего, ничего, — успокоил он ребят, — это он так только, пошуметь захотелось... Ничего... А ну, покажите-ка мне вашу бабушку...

И Иешуа неожиданно брызнул в лица ребят водой. Те захохотали, разбежались, но через минуту снова все облепили его. И он шагнул в убогую лачугу Симона. В углу, на куче лохмотьев, лежала больная, иссохшая, с острым носом и впалыми, потухшими глазками старуха. Крепкая, загорелая

Сусанна, от платья которой шел густой запах рыбы, только что напоила ее каким-то отваром.

— Ты что это, бабушка, вздумала, а? — ласково сказал Иешуа, поздоровавшись и подходя к больной. Старуха улыбнулась всем своим беззубым ртом.

— Да на озере, должно, продуло... — слабым голосом сказала она. — А вот как увидела тебя, гость наш дорогой, так словно и полегчало сразу...

Иешуа потрогал еще влажной от умывания рукой ее горячий лоб.

— Ничего, не робей... — ласково сказал Иешуа. — Вставай потихоньку да и ползи на солнышко. Обдует ветерком с озера и легче станет. Если бы знал я о твоей болезни, я бы травки какой захватил. У ессеев много всяких травок таких узнал я. Старики их лечебник целый составили. Сэфэр Рэфуот называется... Ну-ка, вставай...

— Да для тебя я словно из могилы встану, золотой ты мой, серебряный... говорила старуха, подымаясь. — И без травки всякой встану...

Во дворе слышались голоса ребят. Симон выглянул в широко раскрытую дверь, в которую рвалось солнце.

— А вот и Зеведеевы пришли... — сказал он. Через несколько минут за углом дома, в холодке, уже сидели все на циновках и ласково осведомлялись один у другого о здоровье, о

благополучии ближних, о делах. Иаков и Иоханан были очень похожи один на другого и наружностью, и душой: стройные, курчавые, с черными, горячими глазами, которые то и дело темнели от гнева, они всегда бурно отзывались на всякую неправду, настолько бурно, что Иешуа в шутку прозвал их «сынами грома» и говорил, что если бы в их распоряжение Адонаи дал молнию, то свет Божий просуществовал бы не очень долго. Но оба были отходчивы и доступны добру. Разница между ними была только в том, что у Иакова лицо уже обложилось кудрявой черной бородкой, и он потихоньку учился сдерживать себя, а на совсем молодом лице Иоханана едва пробивался нежный пушок, и он то и дело загорался самыми буйными огнями...

Около мужчин, у стены, приютилась больная старуха, а Сусанна уже жарила на очаге свежую рыбу, вкусный запах которой шел по всему двору. Белые чайки, сверкая на солнце, кружились иногда над их головами и снова уносились в озеро...

Иешуа застенчиво, обиняками говорил о том, что занимало его душу, что в те времена в Палестине волновало всех, чем, казалось, был напоен самый воздух страны: о том, что жить так больше нельзя, что исполнились все сроки, что должно случиться что-то такое, что разом изменит всю жизнь. Он говорил тихо, медленно, точно

внимательно разглядывая каждую свою мысль...

— Люди запутались... — говорил он. — Садукеи заперлись в своем храме и думают, что непрерывные жертвы их это все. А почитайте-ка, что говорит об этом Господь через Исаию! «К чему мне множество жертв ваших? Я пресыщен всесождениями овнов и туком волов и не угодна мне кровь быков, и агнцев, и козлов... Курение мерзость предо мною, новомесячия ваши и Субботы нестерпимы мне...» Вот что говорит Господь! И не говорит ли Он более того: милости хочу а не жертвы? Или Он это говорит и тогда, значит, садукеи идут против Него, или Он этого не говорит, тогда, значит, Исаия и пророки говорили зря... Фарисеи же исходят душою в спорах бесконечных. Наши ессеи заперлись в пустыне и знать ничего не хотят: только бы им самим чистоту свою сохранить... Богачи, римляне и правители наши сосут кровь народную, как только хотят, и нет на них никакой управы... Поднялся Иуда Галонит, поднимались другие и все захлебнулись в своей крови. Так что же делать? Он хочет от нас милости, Он хочет правды, Он хочет любви — Он хочет радости...

— Ну, хорошо, так... — кивнул Иоханан своей курчавой головой. — Так и говори прямо: что же велишь ты нам делать? Я чую ведь, что есть у тебя что-то, чего ты не говоришь нам...

— Есть... — поколебавшись немного, сказал Иешуа тихо, но решительно. — Но... где слова, чтобы выразить это? Про себя мыслю я так, что... слишком уж все себялюбцы и что этим вот самым и держим мы себя в плену у... самих себя... Да, от всего отказаться, ничего не бояться и выступить со словом правды и спасения для всех...

— Да спасение-то в чем? — нетерпеливо отозвался Иаков.

И Иешуа, разгораясь все более и более, заговорил о том, что надо все личное оставить, соединиться всем согласным вместе, так, чтобы никто ничего не называл своим, и примером этой ясной, свободной, братской жизни и словом смелым заражать всех, звать всех на эти пажити Божьи, в это царство Божьих бедняков. Это и для него было еще подобно смутной утренней грезе, но в самых словах его, идущих из переполненного сердца, была необычайная сила убедительности. Друзья горячо поддерживали его, но от чуткого сердца его не ускользало, что много земной мути примешивают они к его правде: и зависть к богатым, и злоба на них, и жажда мстить, и это резкое осуждение. И он омрачался, и, потухая, говорил:

— Что же смотреть на сучок в глазе брата твоего? Сперва из своего глаза бревно вынуть надо...

— Известное дело... — охотно соглашался

Симон Кифа. — И среди бедняков есть тоже такие, что пронеси только Господи!..

Все невольно рассмеялись. Иоханан и Иаков засыпали Иешуа нетерпеливыми вопросами и сердились, что он не говорит им сразу все до последней йоты. Простоватый, но тупой Андрей все поводил с усилием кустистыми бровями своими и все никак не мог уяснить себе сущности намерений Иешуа. Ему все казалось, что дело идет о каком-то заговоре, о подготовке какого-то ему совсем еще неясного восстания. И в глубине души его возилась темная мысль: ежели пристать первым, то тем больше, в случае успеха, будет награда... Но раздать имущество... Тут Иешуа, конечно, берет через край. Можно будет, в случае чего, все свое брату передать: он тоже не очень богат...

Иешуа чувствовал, что его мысли, высказанные, точно тускнеют, точно вянут и будто чужими становятся, но в то же время внутри, в душе, для себя уясняются, связываются в одно, укрепляются. Все были захвачены настолько, что не заметили, как пообедали, как снова проговорили до вечера... И, чтобы не отставать от Иешуа, все тут же решили идти с ним в Иерусалим, на праздник Кущей...

— Надо хоть что-нибудь делать... — сказал Симон и прибавил старинное присловье, которое пускали в ход иудеи тогда, когда дело было не

совсем еще ясно: — А там придет пророк, который и укажет, что надо...

— Ну, рабби, воистину, ты целитель... — с трудом поднимаясь, проговорила старуха, теща Симона. — Заслушалась тебя и лихорадку свою совсем забыла...

И Иешуа, взволнованный долгой беседой, сиял на нее своими застенчивыми глазами и снова, и снова чувствовал, как душа его точно обнимает не только добрую старуху эту, но и всех этих простых тружеников, и все это нежащееся в закатных лучах селение, и розовых чаек, и эти фиолетовые заозерные дали, и всю землю, и все небо...

— Рабби!.. Милый!.. Насилу-то вырвался, чтобы повидать тебя!

И мытарь Левий, длинноносый, ушастый, с широкой улыбкой большого и сочного рта, вытирая пот, так и бросился к Иешуа.

— Насилу вырвался... — повторил он.

Служба мытаря — по взиманию всякого рода косвенных налогов — была среди иудеев в величайшем презрении. Мытаря отлучали от синагоги, он становился вне закона и не мог даже на случай смерти распорядиться своим имуществом. Деньги, которые они собирали, считались законниками проклятыми, и они запрещали верующим даже размен у мытарей, дабы не оскверниться. Тем дороже была для Левия

дружба Иешуа и его близких. Левий был большой добряк и носил среди бедных кличку Маттайи или Матфея, что значит «дар Божий»...

Иешуа присел со своим другом побеседовать, но взволнованные капернаумцы уже торопили его: им казалось, что надо что-то начинать немедленно...

— Если идти, так надо поторапливаться... — сказал Симон.

— Да, да... — отвечал Иешуа. — Ты, Левий, можешь проводить нас хоть до Магдалы... Там побеседуем с моими родичами, переночуем у них, а завтра, на зорьке, можно и дальше...

Х

Гуськом, черные тени, они шли в темноте под звездами узкой, каменистой тропинкой. Слева сонно плескало озеро, от которого приятно тянуло влагой. Справа, на взлобке, засветились огоньки Вифсаиды, но они миновали ее, не останавливаясь: Магдала была рядом. Утомленные долгой беседой, все молчали, только Иоханан один задумчиво напевал вполголоса любовную песенку с красивым припевом:

Милый мой, где ты?..
Я жду!

Хижина дяди Иешуа, Клеопы, стояла почти с самого края селения. Хозяева еще не спали. Самого Клеопы дома не было: он уехал на Базан купить себе пару молодых волов. Он занимался земледелием, снимая землю у одного богатого фарисея. Землевладельцы сдавали таким «арисам» землю за половину или даже за две трети урожая, и потому арисы из долгов никогда не выходили. А уйдет управитель землевладельца, приходят римские мытари требовать подать, не успел расплатиться с ними, сборщики от храма являются: давай десятую часть всего, что есть в закромах, в подвале, в стаде — только успевай поворачиваться! Своих сыновей Клеопа пустил по ремеслу, но и ремесленники в те времена получали плату нищенскую и терпели большие убытки от запрещения работать на язычников. И потому семье жилось нелегко...

Встретила гостей Мириам, маленькая худенькая женщина с совсем увядшим лицом и с огромными, сияющими и чуть печальными глазами красоты необычайной. Она души не чаяла в своем племяннике и места просто не могла выбрать, где бы усадить дорогих гостей, как бы их лучше угостить...

Сыновей у нее было трое. Все они были немного моложе Иешуа. И трудно было придумать

братьев, которые были бы менее похожи один на другого: старший, Иаков, был высок, худощав, широкоплеч, с лицом точно невыспавшимся и угрюмым; второй, Рувим, был маленький, рыжий, в пестрых веснушках, а третий, Вениамин, был горбун, на бледном лице которого горели глаза еще более прекрасные, чем у его матери. Двое старших были горячими бунтарями, но ни в чем не могли согласиться между собою и вечно ожесточенно спорили и ссорились, что не мешало, однако, всей семье жить душа в душу той солнечной галилейской жизнью, которую нельзя лучше назвать, как веселая бедность...

С востока, через озеро, тянуло ночным ветерком, да и нескромных ушей немного опасались, и потому все сидели в закопченной хижине, вокруг тихо тлеющего червонным золотом очага. И сразу закипел разговор. Иешуа, немножко напуганный этой бурной стремительностью, с немим удивлением следил за происходящим: только несколько часов назад высказанные им мысли, мысли и ему самому еще не совсем ясные, на его глазах росли, изменялись и действовали вполне самостоятельно, не только находясь уже совсем вне его воли, но точно стремясь даже подчинить его себе, увлекая его за собой туда, куда он идти никогда и не думал. Так, высказанная им только предположительно мысль о том, что

проповедники благой вести, объединившись, должны прежде всего освободить себя от всякого имущества, все сложить в общую казну или просто раздать нищим, — надо же было с чего-нибудь как-нибудь начинать! — его собеседники уже считали чем-то вроде краеугольного камня, неизменным обязательством, нерушимой заповедью. И по мере того как они, его близкие, воспламеняя один другого, закрепляли ее все больше и больше, ему самому она становилась все более и более чуждой: ему начинало казаться, что этот первый шаг освобождения себя от земных пут должен быть добровольным и что только полная свобода сделать это или не сделать и придаст ему цену...

— Это хорошо... — весь пылая, одобрил рыженький Рувим. — Но надо действовать решительнее. Нас мало... Надо сразу же привлечь к делу побольше народа. Отчего бы нам не завязать сношений с Иохананом Крестьящим?

— Но он же в Махеронте... — нетерпеливо отвечал сумрачный Иаков. — Попробуй, завяжи!..

— Ученики его остались... — горячо вмешался Иоханан Зеведеев. — Говорят, что они как-то сносятся со своим учителем и проповедуют, и крестят и без него...

— Заходили они тут ко мне как-то... — задумчиво сказал Иешуа. — Но... но что-то вот не

вяжется у меня с ними дело... — с застенчивой улыбкой прибавил он вдруг. — Мне все сдается, что установи Господь завтра свое царствие на земле, они огорчились бы: не над чем было бы скорбеть и плакать... Но, конечно, — поторопился он поправиться, — я ничего дурного сказать про них не хочу. Они добрые люди. И сойтись с ними поближе нам не мешало бы...

— И дело... — решил Симон Кифа. — Если начинать, так начинать...

— Да что же начинать, когда толком неизвестно, как и для чего? — остановил их Иешуа. — Ну, сойдемся вместе, продадим или раздадим все, а потом?

— А потом идти повсюду и поднимать народ... — схватился Рувим.

— Да на что его поднимать? Как? — недовольный, пробовал остановить Иешуа. — Торопиться, друзья, нечего — надо сперва крепко обдумать, что мы людям скажем...

Но разгоряченные сердца точно не хотели уже и слушать его, они шли уже где-то впереди его, в какие-то и им самим неясные дали... Освобождения хотят все, и нельзя терять времени... Горбун, потупившись, слушал, необыкновенные глаза его сияли, и длинные тонкие пальцы перебирали нежную, молодую бородку... И Мириам слушала молча, и по увядшему лицу ее было заметно, что и

ей что-то тут не по душе...

Выговорились и успокоились немного. И порешили, что двое все же пройдут к ученикам Иоханановым: переговорить с людьми никогда не мешает. Пойти решили Иоханан Зеведеев и Рувим. А, главное, в Иерусалиме нужно зацепиться — мало ли там земляков живет?

— Вот бы эту вашу рыжую Мириам к делу притянуть... — напряженно двигая густыми бровями, сказал Андрей, который продолжал упорно видеть во всем происходящем начало какого-то заговора. — И деньги есть у нее, и знакомства...

Мириам боязливо взглянула на еще более нахмурившегося Иакова: он крепко любил рыжую красавицу и рана от разрыва с ней, знала мать, все еще кровоточила в сердце его.

— Ну, вот, охота была с блудницей путаться!.. — недовольно сказал Симон Кифа. — Она в богатстве живет — что ей до нас?

— Я как-то был тут в Вифании, у Элезара, так видел ее... — сказал Иешуа. — На богатых носилках рабы несут, сама вся в золоте, пьяная, хохочет... А вокруг все богачи Иерусалимские...

— Какая она там ни на есть, а только за галилеян она всегда стоит... — тихо вступился горбун. — Вот недавно одного из магдалинцев наших в тюрьму засадили, — что-то нехорошо о

римлянах сказал, что ли — родные бросились к ней, и она в миг выхлопотала освобождение. Нет, сердце у нее золотое, что там ни говори... И не нам судить ее... — тихо добавил он.

Угрюмый брат украдкой благодарно взглянул на него и отвернулся. И Иешуа долго и мягко смотрел в это тихое, бледное, потупленное лицо. Сердце тайно шепнуло ему: вот этот знает, что надо... Еще больше почувствовал он, что начинается что-то не то, начинается вопреки ему. На душе стало смутно и печально...

— Как там ни верти, а рубить сук, на котором сидит сама, она не будет... — упрямо сказал Иаков Зеведеев, и горячие глаза его налились темным. — Она от богачей живет, а мы идем против богачей... Нам с такими связываться не пристало...

— Конечно... — рассудительно сказал Симон. — Эдак и беды наживешь. Надо тоже действовать с оглядкой...

— И богачи такие же люди... — тихо сказал опять горбун. — Что, отказался бы ты от богатства, если бы тебе повезло?.. И ежели вы спервоначалу разбирать будете: тот не хорош да этот не хорош, так что же это будет? Здоровых лечить нечего — больных надо лечить...

— Это верно... — охотно согласился Кифа.

Но другие дружно напали на горбуна; от кого и идет все зло, как не от храмовников да от

богачей? Снюхались с римлянами и заодно обирают бедный народ. И все более и более разжигая словами один другого, все запыхали злобой, уже не только к богачам, но и к бедному горбуну, который вздумал защищать ненавистных.

— Если у меня нет куска хлеба, а он весь в золоте, — страстно кричал рыженький Рувим, и на его пестром от веснушек лице пылал огонь, — то, значит, нет в нем сердца, значит, не человек он, а истукан бесчувственный!..

Андрей тихонько подошел к раскрытой двери — в нее смотрела звездная ночь — и осторожно прикрыл ее.

— На себя смотреть надо... — сказал тихо горбун.

— Да, начинать надо с себя... — с просиявшими глазами сказал Иешуа. — Вот и говорю я, что, прежде чем выступать перед людьми, нам самим в себе укрепиться надо... Враги народа... То же и про Иуду Галонита с его людьми говорили и растянули их всех на крестах. А какие же они враги народа? Может быть, и нас когда прославят врагами народа... — добавил он тихо и, глядя по своей привычке в себя, добавил: — Если бы вы знали, что значит: милости хочу, а не жертвы, вы не осудили бы невиновных... И разве судить пришли мы мир? Не судить, но спасти!.. Вон Иоханан Крестьящий проклинал: горе вам, богатые!

Горе вам, пресыщенные! Горе вам, смеющиеся!.. Каюсь: и я часто срываюсь так. Но это — грех... Прежде всего примиришься со всеми и, если пошел ты в храм принести жертву и вспомнил, что ты не в ладу хоть с кем-нибудь, оставь дар твой перед жертвенником и пойдешь прежде примиришься с братом своим. Полюбить даже врагов своих надо и благодотворить им, не ожидая ничего. Только тогда и будете вы сынами Божиими, ибо Он посылает дождь свой на добрых и злых и заставляет солнце сиять на праведных и неправедных...

Мириам сдержала движение восторга, но все ее лицо просияло, и горбун долго не спускал своих прекрасных лучистых глаз с взволнованного лица своего двоюродного брата... Все притихли — точно повеяло над взволнованными душами какою-то нездешней лаской... И долго молчали...

Андрей сочно зевнул.

— Да... — вздохнул Симон. — И, в самом деле, пожалуй, спать пора: всего не переговоришь... Один — одно, другой — другое, а как лучше — кто знает?..

Все порешили завтра с утра идти вместе на праздник Кущей и начали укладываться спать. Иешуа, как всегда, захватив свой плащ, поднялся на кровлю, помолился и лег. Но уснуть он не мог: печально и смутно было на душе. Внизу — было слышно — горячо заспорили, как всегда, Рувим с

братом Иаковом. И замолчали, и опять заспорили...
Мать едва развела их...

Не спал и горбун: черной, безобразной тенью он сидел на пороге и смотрел в звездные поля. Он всегда спал очень мало. И в душе его была и сладкая печаль, и светлая радость. Он слышал, как все возится и вздыхает наверху Иешуа, и почувствовал его тоску. Он тихонько встал, послушал и неуклюже полез по корявой лесенке на кровлю. Тяжело от усилия дыша, неслышно подошел он к Иешуа, и тот вздрогнул: на его голову вдруг любовно легла эта холодная рука с длинными, тонкими пальцами.

— Не печалься... — дрогнул в темноте слабый голос. — Господь видит душу твою... Правда не оттого правда, что в нее уверуют все народы, а оттого, что она — правда, будь ты хоть один во всем свете...

Иешуа поднял к нему свое взволнованное лицо.

— А ты — не один... — еще откровеннее дрогнул голос.

— Не один?

— Нет, не один...

И печаль прошла... Снова в бескрайних долинах неба зацвели мириады золотых лилий, и понеслись над небесными лугами светлые хороводы ангелов, и точно вся вселенная запела

торжественно и сладко: слава в вышних Богу, на земле мир и в сердцах человеческих — благоволение... И оба, молча, сидели и слушали молитвенные песни душ своих...

XI

Серый, грозный, мрачный Махеронт зашумел радостным шумом: дозорные со стен подметили вдали, в долине иорданской, большой отряд римлян, который, несомненно, шел на выручку Ироду Антипе. Этот «шакал идумейский» был достойным преемником своего отца, Ирода, прозванного Великим. Железной рукой взял этот Великий за горло волновавшийся тогда народ иудейский и бесчисленными убийствами закрепил за собой власть. Он выстроил в Иерусалиме театр, гипподром и установил игры, которые должны были праздноваться через каждые четыре года, а вблизи от храма были построены гимназии и термы, в которых знатная молодежь проводила время по-эллински. Он основывал языческие города, воздвигал языческие храмы и украшал их богатой скульптурой, восстановил лежавшую в развалинах древнюю Самарию и дал ей имя Севастия (Августа), открыл на Средиземном море порт — знаменитую Цезарею. Родос обязан ему храмом Аполлона пифийского, Аскалон — фонтанами и

банями, Антиохия — портиками, шедшими вдоль всей главной улицы. Библос, Беритос (Бейрут), Триполис, Птолемаида, Дамаск, даже Афины и Спарта не были забыты Иродом — там остались памятники его любви к зодчеству. В борьбе за власть он не останавливался даже перед убийством самых близких родственников своих и за несколько дней до своей смерти — от беспробудного разврата он начал гнить, живьем съедаемый червями — он приказал умертвить своего старшего сына. А затем заживо разлагающийся старик этот — ему было семьдесят лет — приказал перенести себя в свой роскошный дворец в Иерихоне и там, цветущей весной, он приказал запереть в тюрьму целый ряд выдающихся иерусалимских граждан с тем, чтобы все они были зарезаны в момент его смерти: он хотел, чтобы смерть его вызвала в стране слезы...

Объединенную им Палестину он по завещанию разделил между тремя своими сыновьями: Архелай получил трон и титул этнарха вместе с Иудеей, Идумеей и Самарией, Ирод Антипа получил титул тетрарха вместе с Переей и Галилеей, Филипп получил так же титул тетрарха и весь Хауран. Римляне отняли у слабого Архелая его удел и присоединили к своей Сирии. Он стал с этих пор управляться римскими прокураторами, которые, главным образом, занимались тем, что тушили народный вулкан, кипевший под их ногами.

В мерах борьбы с отчаявшимся народом прокураторы не стеснялись: достаточно сказать, что полководец Вар после одного из таких усмирений распял на крестах у всех ворот иерусалимских, на всех перекрестках, на высоких холмах среди полей целых две тысячи пленных... Но ничего не помогало: страна кипела...

Ирод Антипа, столь же ненавидимый народом, как и его отец, будучи в Риме, влюбился в жену брата своего, тоже Ирода, который, не играя никакой роли, проживал там при пышном дворе цезарей. Властную и честолюбивую Иродииду угнетало жалкое положение ее безвластного мужа, и она тоже увлеклась Иродом, в котором она чувствовала родственную натуру. Она точно не замечала, что он был неумен, ленив, ничтожен и умел только лебезить перед Тиверием. Ей казалось, что с его беспринципностью он пойдет далеко. И она пошла за ним, но потребовала, чтобы Ирод предварительно отверг свою прежнюю жену, дочь Харета, царя Петры, который бродил со своими кочевниками по этим пустыням. Ирой принял условие, но Харет оскорбился, объявил своему зятю войну и в первом же сражении разбил его. Ирод заперся в неприступном Махеронте и послал гонцов в пышную Антиохию к императорскому легату Сирии, Эллию Ламмия, чтобы он выручил его. Тот не очень торопился: если бы Харет сломал, в конце

концов, этому интригану голову, то, конечно, плакать в Риме никто не стал бы. Ирод, где нужно, потрянул мощной, наобещал золотые горы, наврал всего и вот, наконец, из вечереющей долины появились перед огромными крепостными воротами римские когорты...

С визгом растворились огромные ворота и Ирод, — лет сорока, рослый, черный, с чуть приплюснутым носом, красными губами и глазами с поволокой, нарумяненный и надушенный, как и его отец — униженно улыбаясь, склонился перед сидящим на прекрасном коне представителем могучего Рима, Вителлием. На прекрасном латинском языке тетрарх приветствовал его с благополучным прибытием и в самых льстивых выражениях благодарил за помощь. Вителлий — мускулистый, загорелый, с четким профилем и холодно-серыми глазами — сошел с коня и, покосившись на своих ликторов, с подчеркнутой небрежностью коротко отвечал на приветствия тетрарха, а затем, тотчас же отвернувшись, подал знак legionерам. И тяжелым, мерным шагом legionеры, распространяя густой запах пота, прошли сквозь башенные ворота мимо Вителлия и довольного Ирода на обширный, весь выстланный тяжелыми каменными плитами двор замка. В дороге Вителлий решил было показать иудеям свои войска в полном блеске, но потом раздумал — не

стоит! — и не приказал даже солдатам снимать чехлов со щитов... А потом опять передумал: те подумают, что он для их удовольствия закрыл чехлами изображение цезаря на щитах, — они ненавидели всякие изображения — и перед входом в крепость он приказал чехлы снять... Солдатня Ирода радостными криками приветствовала освободителей, но, увидев изображение цезаря, остыла. Римляне только презрительно косились на них... За легионерами, звонко цокая копытами по каменным плитам, втянулся обоз воинский — длинная вереница крупных, длинноухих мулов...

— Итак? — немножко насмешливо улыбнулся Вителлий.

Ирод с улыбкой показал через широко открытые ворота вниз, к Мертвому морю: там, на равнине, к югу пестрели шатры кочевников. Пренебрежительная улыбка скользнула по лицу Вителлия.

— Я хотел завтра послать Харету приказание очистить Перею, — сказал он, — но, видимо, надобности в этом не будет...

И он указал на всадника, — отсюда, с высоты, он казался игрушкой — который, подымая золотую пыль, неся по направлению от Махеронта к лагерю кочевников, по-видимому, с вестью о подходе римлян.

Ирод, довольный, рассмеялся и снова